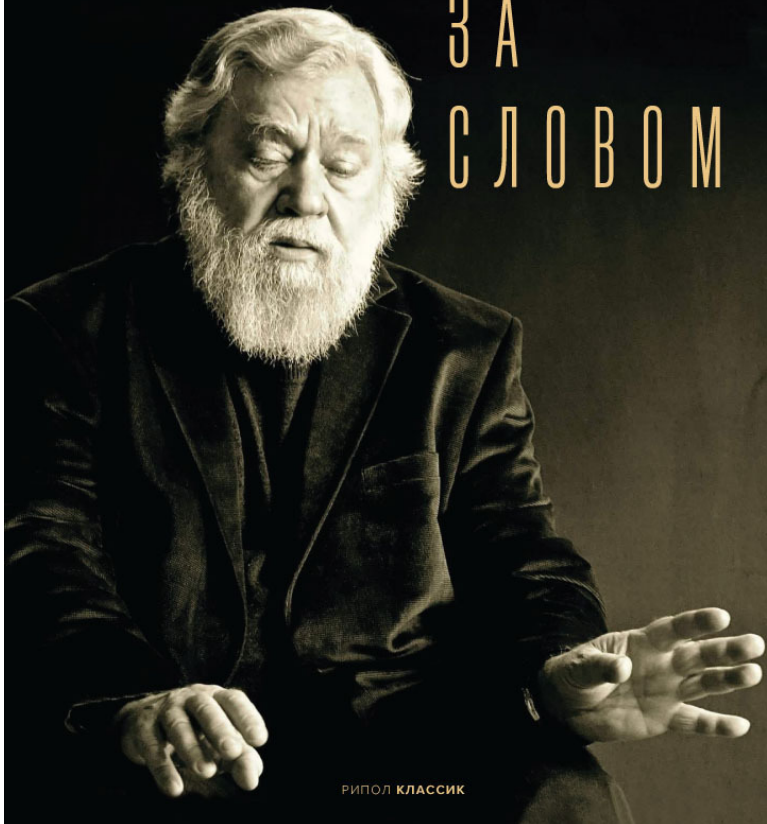


Владимир Алейников

В С Л Е Д  
З А  
С Л О В О М



РИПОЛ КЛАССИК

# Владимир Дмитриевич Алейников

## Вслед за словом

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=68540818](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68540818)*

*Вслед за словом / В.Д. Алейников: Рипол классик; Москва; 2022*

*ISBN 978-5-386-14755-6*

### Аннотация

Книга известного русского поэта и прозаика Владимира Алейникова «Вслед за словом» необычна и по жанру, и по своей структуре. Это проза поэта, свободная, ассоциативная, ритмическая, тяготеющая к поэзии, и в то же время это своеобразные воспоминания о минувшей эпохе и творческих людях непростого, но щедрого на таланты времени, о друзьях и соратниках автора по нашему отечественному андеграунду, одним из основных героев которого был он в прежние времена.

Среди персонажей книги – ныне широко известные художники Анатолий Зверев, Владимир Яковлев, Игорь Ворошилов, Пётр Беленок; поэты и прозаики Леонид Губанов, Александр Величанский, Генрих Сапгир, Евгений Рейн, Сергей Довлатов, Константин Кузьминский, Венедикт Ерофеев, Саша Соколов, Андрей Битов и многие другие; представители старших поколений – Оксана Михайловна Синякова-Асеева, известный коллекционер Георгий Дионисович Костаки, поэт Арсений Александрович Тарковский, поэт и переводчик Аркадий

Акимович Штейнберг, великий акварелист Артур Владимирович Фонвизин. Основатель и лидер легендарного содружества СМОГ, Алейников рассказывает об этом ярком явлении шестидесятых годов прошлого века.

Лирические фрагменты чередуются с портретами различных колоритных людей, с историями, в диапазоне от занятных до драматичных, образуя многоплановое, эпическое повествование. Не случайно литературоведы называют Алейникова Нестором русского андеграунда и считают, что его фантазмагорическая проза стоит вровень с лучшими книгами Маркеса. Новая книга Владимира Алейникова несомненно будет интересной и полезной для современных читателей.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

# Содержание

I  
Конец ознакомительного фрагмента.

6  
101

# Владимир Алейников

## Вслед за словом



РИПОЛ  
КЛАССИК

© Алейников В. Д., 2022

© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «Рипол классик», 2022

# I

Вслед за словом, за звуком, за взглядом, с этим светом, встающим с утра, с этим садом, – а что с этим садом? – с ним давно побрататься пора, – прямо в бездну, за тонкую стенку, прямо в невидаль, в топкую мглу, где, сдувая молочную пенку, настроенье сидит на полу, в ненасытную эту воронку, где ненастье глядит в зеркала, вместе с эхом – за веком вдогонку, прямо в осень – была не была!

...Високосная осень давнего, не ушедшего вместе с эпохой отшумевшей, но почему-то навсегда сохранённого в памяти, небывалого года, когда был я молод и полон сил, возвратилась нынче ко мне, вместе с утренним светом в окне, вместе с музыкой неизменной лет, которым забвенья нет, вместе с сонмом живых примет, вместе с радостью драгоценной, вместе с грустью, принёсшей весть о таком, чего впрямь не счесть, и о том, что надежда есть на вниманье и пониманье, о таком, что явилось вновь и с собой принесло любовь, как и встарь, будоража кровь, словно был где-то там, за гранью всех событий и всех невзгод, всех наитий и всех щедрот, всех открытий и всех забот, и прорвался, прозревший, к яви, сквозь пространство и время, в речь, прямо в гушу минувших встреч, в то, что в сердце сумел сберечь, – и сказать я об этом – вправе.

Жизнь, всегда и везде напряжённая, пусть и сложная, но интересная, с непрерывною новизной, вопреки нелепостям быта, огорчениям, состояниям, иногда, подчеркну, какой-то растяннувшейся и в пространстве, и во времени, затяжной, бестолковой неопределённости, в чьей туманной и зыбкой прорве днём с огнём не найдёшь просвета, да ещё и со ставшей привычною, как ни странно, сердечной горечью, чьё присутствие постоянное ощущалось на каждом шагу, каждый день, каждый час и миг, но случалось, что отступало перед новыми увлечениями, уступало место им, что ли, чтоб напомнить вдруг о себе неожиданно и жестоко, но потом, как будто смутившись, отойти куда-то в сторонку, переждать, за-таившись, там то, что было ей не по силам одолеть, потерпеть немного, а потом нагрянуть опять, потому что её не вытравить ни из сердца, ни из души, такова уж её природа, вот и мучишься с ней, бывало, что поделаешь, приросла, прижилась, диктует своё резко, властно, порой некстати, а потом отступает вновь, передышку давая всё же мне, и можно дышать, похоже, глубоко, вот и вся любовь, – жизнь, моя, а не чья-нибудь, то звала меня, умоляла, так вернее, куда-то в путь, то на месте меня держала, призывая к моим трудам, и скитанья по городам нашей прежней страны отдаляла, – жизнь на то и дана, видать, чтоб являлась в ней благодать, иногда, вопреки невзгодам, чтобы радость дружила с ней, чтобы я вспоминал ясней, в круговерти минувших дней, всё,

что связано, среди огней, разгоравшихся всё сильнее, среди звёзд, что подруг верней, с високосным далёким годом.

Високосных лет в моей жизни было много. Всего – девятнадцать. И, надеюсь, будут ещё впереди. Надеюсь – и верю.

А поскольку родился я в январе, то, выходит, было девятнадцать прожитых мною, или – пережитых, так можно по-неволе сказать, реальных, тех, что видел я, что воспринял, словно явь, открытую мне и в сознание моё вошедшую навсегда, чтобы остаться в нём вместе с тем драгоценным светом, что дарует и радость, и грусть, и хранит их, в единстве редкостном, помогая мне жить и дышать, оставаться самим собою, быть, вот именно, просто – быть, этим сказано всё, да, быть, и сейчас, и потом, в грядущем, дай-то Бог, високосных осеней.

Високосная осень. Так.

Но какую же осень мне вспомнить?

Что за ними? Звук – или знак?

Чем их нынче, ушедших, восполнить?

Как вернуть их? Как сохранить?

Только – в речи. В начале – слово.

То-то вьётся седая нить.

Из былого. Привычно. Снова.

То-то тянется долгий путь.

Вдоль судьбы. Не случайно, значит.

Станет явью – когда-нибудь.  
Стал, вернее. И глаз не прячет.  
Утешений особых нет.  
Понимание – где-то рядом.  
Есть – извечный, целебный свет.  
И открытия – с каждым взглядом.  
С каждым часом. И с каждым днём.  
С каждым годом. И с каждым вздохом.  
Есть – отвага. Игра с огнём.  
И простор. И укор эпохам.  
Выживанье. Упрямство. Честь.  
Оправданье того, что – было.  
Из всего, что я знаю, – весть.  
Свод небесный. Земная сила.  
Восставать из невзгод – всегда.  
И – держаться. Всегда. Так надо.  
И горит надо мной звезда.  
С ней – дождусь я любви и лада.  
С ней мне легче дышать и жить.  
С нею – вера. И с нею – воля.  
Встать. Идти, как и прежде. Быть.  
Вопреки оголтелой боли.  
Проходить сквозь преграды. Петь.  
Вглубь. И в даль. Да и ввысь. Всё выше.  
И сказать о былом – суметь.  
Возрастанье гармоний слыша.

Что за музыка – там, вдали!  
И – вблизи. И – повсюду. Рядом.  
Что за радость – краса земли!  
Что за чудо – за каждым взглядом!

\* \* \*

Был прохладный осенний день.

Ветер северный вдруг налетал на округу приморскую нашу – и срывал с окрестных деревьев разноцветные листья – жёлтые и багровые – и они, покружившись в воздухе, падали на дорожки в садах, на землю, на траву, и лежали там, то поврозь, то целыми грудями, и светились, будто фонарики или свечи, – и до зимы было долго ещё, но всё-таки где-то там, впереди, она ощущалась и даже брезжила, высветлялась и принимала очертания, различимые из окна моего, вставала, словно призрачное видение, за холмами и за горами, вместе с музыкой, возникавшей незаметно и разливавшейся высоко, далеко, сквозь время и пространство, и это было, как и прежде, закономерным, неизбежным, но и сулило неизменную новизну откровений грядущих, открытий, всех возможных вскоре событий, чувств, и слов, и моих наитий, и трудов, и опять – весну...

Я писал эту книгу – и думал: как же мне её надо назвать?

Сколько ведь было событий в давние годы! Сколько бед, и утрат, и трагедий, и скитаний, и ожиданий, и открытий, и обретений, и упорных, долгих трудов!

Сколько их, ярких звёзд, в нашей богеме! Эпоха прежняя – звёздной была. Сколько талантов! И сколько судеб необычайных! Сплошное звёздное небо – над нашей родной землёй. Созвездия. Даже галактики. Миры. Сияние творчества. И всё это – существует. Живёт. Здесь. Рядом со мной.

Как назвать мою книгу нынешнюю, со временем будет видно.

Речь скажет об этом – сама.

Смыслы присутствуют в речи моей – и явно, и скрытно.

Всегда. И что им – зима!..

День к хандре незаметно привык, в доме слишком просторно, – деревья, разветвьсь непокорно, не срываясь на крик, издают остывающий звук, что-то вроде напева, наклоняясь то вправо, то влево вслед за ветром – и вдруг заслоняясь листвой от неряшливой мороси, рея, как во сне – и мгновенно старея, примирённо качнув головой.

Так и хочется встать на котурнах простора, отодвинуть нависшую штору, второпях пролистать чью-то книгу – не всё ли равно, чью конкретно? – звучанье валторны, как всегда, непритворно, проникает в окно, разойдясь по низам, заполняет округу наподобье недуга – и смотреть непривычно глазам на небрежную мглу, на прибрежную эту пустыню, где и ты поселился отныне, где игла на полу завалилась, блеснув

остриём и ушко подставляя для невидимой нити – такая прошивает, скользя, окоём, с узелками примет оставляя лоскут недошитым, чтоб от взглядов не скрытым был пробел – а за ним и просвет.

Призрак прошлого к дому бредёт, никуда не торопится, подойдёт – никого не найдёт, но такое накопится в тайниках незаметных души, что куда ему, дошлому, торопиться! – и ты не спеша, доверяющий прошлому.

Отзвук прошлого в стёклах застрял за оконную рамою – словно кто-нибудь за руки взял что-то близкое самое, словно где-нибудь вспыхнуло вдруг что-то самое дальнее, но открыться ему недосуг, – вот и смотришь печальнее.

Лишь озябнешь да смотришь вокруг – что за место пустынное? что за свет, уходящий на юг, приходящий с повинною, согревающий вроде бы здесь что-то слишком знакомое, был утрачен – да всё же не весь, точно счастье искомое?

Значит, радость вернётся к тебе, впечатления чувствуя, с тем, что выпало, брат, по судьбе, неизменно соседствуя, с тем, что выпадет некогда, с тем, что когда-нибудь сбудется, – и не то чтобы, скажем, Эдем, но подобное чудится.

От заботы великой твоей о таких вот усталых сочинителях книг запоздалых о слетевших с ветвей, индевеющих листьях, о тех улетающих к югу пернатых, что в лесных обитали пенатах и напелись за всех,

о таком, что потом непременно напомнит о прошлом, от

которого жарко подошвам на ковре золотом, пересыпанном зернью росы, зачернённом дождями, там, где ржавыми вбиты гвоздями дорогие блаженства часы, от заботы о том, что томит меня ночью туманной, что аукнется тьмой безымянной, перевяжет жгутом что-то нужное сердцу – а там переменит пластинку, что тревожит меня под сурдинку, что идёт по пятам, как-то зябко становится вдруг, чаровница-погодка, – воровская ли ветра походка и луны ведовской полукруг в запотелом окне навевают под утро такое, – но стоишь, позабыв о покое, от людей в стороне.

\* \* \*

...Желтизна листвы. Рыжина её. Жухлый шорох в скверах. Тускнеющий алый прочерк в кронах. Багряных тел неподвижные вороха.

Синева небес. И – свинцовость их. Темнотища в них непроглядная. Лиловой хмари несносность. Весть и напасть. И – сердце стиха.

То-то хотелось рваться, вглубь или вдаль, куда-то, а куда – не всё ли равно!

Вырваться упрямо – за грань, за черту, в заоблачье, может быть, в Зазеркалье, – хотя бы за город.

Лучше – дальше. Поскольку дальше – лучше всё же. Свободнее там дышишь. Зрению там – просторнее.

В электричке, легко прошившей глушизну лесов обомше-

лых строчкой тонкой, струной зелёной.

На живую нитку сметавшей ткань пространства. Времени ключья незаметно соединившей.

Лёгкой, острой иглой скользнувшей, вкось и ввысь, из яви осенней в измеренья другие, странные, с крутизною вершин желанною, с новизною их безобманною предо мной, в иные миры.

За город. В Подмосковье. В область, где облачность гуще, воздух терпче и чище, нравы грубей и проще, дожди затяжные чаще, просторней окрестные рощи, парков райские кущи волшебней, древние мощи холмов покруче кремлёвских. В Подмосковье. Скорее. За город.

В сферу веры. В укром надежды. В безграничное царство любви.

За кромку быта. На волю. Где покой. И счастье. Всё дальше.

В поезде дальнего следования. В автобусе. На попутных грузовиках. Вперёд.

Лишь бы ехать. И чуют: может сердце выдержать путь сквозь новь. Свет утешит. И Бог поможет. Нитью – к сути. Иглою – в кровь.

Лишь бы видеть. И слышать ясный звук, всей правью земной дыша. Речи – быть. И во мгле ненастной – уцелеть. Отзовись, душа!..

Та же осень. И музыка та же с нею вместе доселе. И даже, всех на свете милей и верней, долговечная лирика в ней.

Та же, что и давным-давно? Почему? По какой причине? Та была – далёкой, московской, с нею молодость рядом была.

Потому и вернулась вновь, чтоб напомнить сейчас о прошлом, отшумевшем, но не ушедшем – так скажу – никуда от меня.

С новой осенью – память скажет, что незримые нити свяжет воедино – и что обяжет воскресать посреди огня.

\* \* \*

Февраль, сырой и сизый, как где-нибудь в южных широтах, в приморском портовом городе, но уж никак не в средней полосе России, вносил свои очередные бредовые поправки в такой пленительный, столькое сразу же говорящий и сердцу и уму, всегда волнующий, отчасти волшебный, вначале школьный – пушкинский и некрасовский, потом взрослый – блоковский и хлебниковский, навсегда оставшийся в памяти, прочно укоренившийся там и с немим укором взирающий оттуда на давно уже расшатанную, чуть ли не вдребезги разбитую действительность, на печальную реальность конца тысячелетия и начала новой эпохи, собирательный образ чудесных русских зим, с их серебристым, сухим, ухарски заламывающим косматую шапку и глухо побрякивающим, крепчающим морозом, с беспредельной, отзывающейся тоской и разлукой, умопомрачительной белизной сплошных, матёрых, каких-то вселенских снегов, с наискось отброшен-

ными тенями на них, извилистыми и синими, как пульсирующие жилки, с коричнево-мшистыми, стоящими вкривь и вкось, как с похмелья, избами и заборами, с одинокими, отрешённо тянущимися ввысь деревьями посреди наметённых за ночь сугробов, с жёсткой щёткой застывшего леса на горизонте, с древними письменами созвездий над закинутой в небо головой, с глухоманью, со сладкой дрёмой, с осторожно брезжущим поначалу, но уже в следующее мгновение упрямо разливающимся над озябшей землёй утренним ясным светом, с обиженно сутулящимися предместьями и с хорошо знакомыми городскими кварталами в зыбкой, почти никем не замечаемой, надолго обволакивающей их дымке, с музыкой столицы, с тем её непостижимым контрапунктом, который один только и может дать выражение невероятному, сбитому в единое целое, то рушащемуся в неизвестность, то самовосстанавливающемуся её бытию, со счастливой возможностью верить в завтра, с надеждой на лучшее, с любовью, не мучительной, а радостной, с неизменным, изумлённым вниманием ко всем и ко всему, с прямизной людских отношений, с пылающим румянцем во всю щёку, с девичьим смехом, колокольцем звенящим вдали, со студёной водой умывания, с доносящимися с кухни ароматными запахами еды, с восхитительной распахнутостью прогулок, с ближним катком, на льду которого ещё вчера густо роились весёлые конькобежцы, со снежными бабами во дворе, с укатанной детишками горкой, с озорно блеснувшим под солнцем, уз-

ким, холодящим горячую ладонь санным полозом, – наконец, с многоярусной, воздушной, ласково колкой, праздничной зеленью ёлочной хвои, сразу заполняющей весь дом своим терпким, лесным, смолистым духом.

Неужели всё миновало?

Безвозвратно? «Кануло в Лету»?

Что сулят нам новые, нынешние, бестолковые времена?

Глобальное потепление с ума сошедшего климата на всей нашей хворой планете – и всеобщее, просто повальное, неизбежное, беспощадное охлаждение человеческих, нам дарованных свыше, чувств?

Не может этого быть!

(Не может? А если – может?)

Нет, нет! Вы что?.. Но тревога давно уже сердце гложет.

Время, пусть и не зашедшее пока ещё в тупик, но словно споткнувшееся на ровном месте и всерьёз озадаченное этим обстоятельством, поскольку такого с ним сроду не бывало, нелепо топчась и разминаясь, пыталось прийти в себя, с натугой, с усилием встряхивалось, норовило рвануться вперёд, оглядеться с прищуром вокруг, но, увидев лишь то, что давно уже видели все мы, огорчённо вздыхало, помедлив с решением хоть что-нибудь вдруг предпринять, замыкалось в себе, уходило в своё отрешенье от бессмысленности будней, рядилось в одежды чужие, перепутав слова, гово-

рило на всех языках, забывая всё больше и чаще язык свой родной, то впадало в прострацию, то возбуждалось неволь-но, то искало забвенья в наплывах сплошных сновидений, то, очнувшись, кручинясь, неведомо где очутившись, начи-нало гадать, что за шум, что за рёв за стеной, принимая за бред повседневность плюс нашу ментальность, о которой го-ворено столько, что некому руку пожать, а тем более, верить, поскольку и скучно и грустно, поднималось, кряхтя, и, как спившийся старый механик, принималось, пускай по инер-ции, вновь за труды, то есть, как получалось, надеюсь я, что не напрасно, с Божьей помощью, видно, закручивало и рас-кручивало свои заржавевшие спирали меланхолично и огор-чённо, потому что его нежданно-негаданно – лишили имени.

На нём не было лица.

Это было и не время вовсе, а междувремье.

Ни то ни сё.

Нечто приблизительно похожее, расплывчатое, полустёр-тое, не личностное, но стадное, безрадостное, безотрадное, без всяких там запоминающихся, достаточно ярких черт, без призывов, способных сплотить, вдохновить, обнадёжить, так, подобье роения, чушь, без особых примет.

Как бы время.

Вот что ужасно.

Самое употребительное выражение последних лет – как бы. Деваться от него некуда.

Злоупотребляют им все, поголовно.

Исключение – один я, пожалуй.

А вокруг – эта чудовищная двойственность, двусмысленность, абсурдность без всякой меры сдобренных идиотской приправой разговоров, привносящая в нашу и без того несладкую жизнь – узаконенную ирреальность происходящего.

Как бы свобода.

Как бы искусство.

Как бы существование.

На грани – только чего?

На краешке, на самой кромке уходящего столетия.

И – в начале столетия нового.

На стыке двух эпох.

На разломе – геологическом ли, духовном ли.

Так ли? Верно? Да, так.

Ничего не попишешь. Терпи.

Что, ну что мне, скажи, в этой прорве ещё оставалось?

Встать посреди обломков где-то на месте града – рать из твоих потомков корень искать распада будет, слегка не в духе, но, как и ты, упряма – встать посреди разрухи где-то на месте храма.

Время – шло. Потому что времени полагается не стоять, но идти. И любому бремени ход извечный не удержать.

Время – двигалось. В направлении неизвестном. Куда-ни-

будь. По неясному повелению. По привычке. Поскольку –  
путь.

Время – таяло. Или – реяло? Или – падало. В никуда? Вроде чем-то знакомым веяло. Или просто – текла вода?

Время – сыпалось. Над песчинками, ускользящими все-  
рвёз, чтоб ледок хрустел под ботинками, поднимался немой  
вопрос.

\* \* \*

В киммерийском раздолье, чей лад – сущий клад, Божий сад, рай и ад, больше – всё-таки рай, ибо в нём реже страхи да игры с огнём, чем в былые года, с их бедой, с их полынной звездой над водой, с их упрямством, достойным похвал, ибо выжил и связи не рвал ни с отчизной, ни с верой своей, скиф, скиталец, певец, Водолей, ни с любовью, что всюду права, ни с надеждой, чьи помню слова, с их волшбой и мольбой на холмах, с их разбродом в домах и в умах, с их тоской, с карнавалом химер, где кошмары, мечтам не в пример, настигали ночами в пути, дабы понял, куда мне идти, прорываясь вперёд или ввысь, напрямик, сквозь авось да кабысь, через морось бесчасья – иглой, в глушь, где глиной, смолой и золой сдобрен смысла подспудного пласт, где простор никого не предаст, где покой вслед за волей встаёт и хорошее что-то поёт в киммерийском укроме, в тиши, где спасеньем, небось, для души, станет речь, потому что лишь с ней крепнет дух

среди седеющих дней.

\* \* \*

...Что со мной происходит? Я вздрогнул, вдали услышав зов негромкий. Откуда он снова ко мне долетает? Всё оттуда же, брат, – из времён, где он всё-таки прав и в упрямстве своём: всё сполна он ещё наверстает!..

В сентябре, в золотом сентябре шестьдесят четвёртого года, на заре нашей странной, безумной, навсегда отшумевшей эпохи, в ту блаженную, ясную, чуткую пору, когда на холмистых московских просторах ещё вдосталь бывало и магически-властного, неизбежно высокого света, и плескавшего исподволь с юга отрешённо-смурною волною, неизменно родного тепла, в том особенно близком душе, напряжённо-свободном, заждавшемся отклика, что ли, пограничном, ранимом состоянье природы, в тот загадочный час предвечерья, в те мгновенья, когда по садам и по скверам вовсю полыхала листва, но уже подбирались к домам и деревьям сквозившие понизу тени – и готовился молча вонзить в сердцевины сплошного звучанья, в глубину созиданья, дыханья и чаянья, в ломкую ткань бытия, припасённую впрок и покрытую ржавью иглу разрушенья, смятенья и страха ледяной холодок неминуемой ночи, беды и зимы...

На такой вот щемящей, звенящей, как в юности, ноте и начать? Звук искомый приходит извне, появляется сам, потому что его-то и ждал я, звук единственно верный, желанный, а стало быть – мой, возникает из памяти, где немота с темнотою, как ни тщились прижиться, приюта себе не нашли, заполняет пространство, проходит сквозь время глухое, неумолчный, рискованный, томящий, зовущий, слепой, прозревает, встаёт на распутье, идёт по наитью, доверяясь чутью, прямо в речь мою – так, мол, и быть, – с ним приходит и строй – и растёт, и ведёт за собою – за судьбой, под звездой, над водой, по земле моей – в мир, где, легендою ставшие, все мы равны перед Богом.

Звук зовёт изначальный – вот я закрываю глаза, словно вновь почему-то, как прежде, читаю стихи, чтоб глазами духовными времени суть различить, – и особенным, внутренним зрением вижу былое.

Оркестровый тревожный прибой, со скрипичным, высоким захлестом, с виолончельным, низким, вибрирующим раскатом, с выплеском труб, звенящим золотом и серебром, и с общим протяжным рокотом, звучит у меня в ушах.

Слух заполнен им. Что же делать!..

И тогда пробуждается зрение.

А потом оживает – память.

А за ней – и давнишний свет.



Стоит сказать об осени шестьдесят четвёртого. То есть – осени всех начинаний, и надежд на всё, что свершиться непременно должно, возможно, и не сразу, пусть постепенно, как уж выйдет, потом, в грядущем, том, в котором нам жить да жить, как наивно и окрылённо представляли мы, понимая далеко не всё, но стараясь, в меру сил своих, прозревать в яви, несколько романтической, знаки горести непривычной, звуки музыки горемычной приучаясь вдруг различать.

Стоит, право, сказать об осени – той, в которой уже содержалось всё, что позже, неслыханно скоро, получило, как только в сказках, с волшебством их и чудесами, полагаю теперь, и бывает, но и в жизни порой случается, в чём давно уж я убедился, на своём, не на чьём-нибудь, незаёмном, немалом опыте, на своём, тернистом пути, продолжение и развитие.

Стоит сказать об осени откровений и озарений.

Пусть и вкратце. Под настроение.

С ностальгией, вполне для меня, поседевшего, разумеемой.

С грустью, слишком понятной нынче.

Это грусть по радости, бывшей очевидной такой когда-то, что никак невозможно хотя бы на минуту какую-нибудь, или

так сегодня скажу я, на ничтожную долю секунды, минимальную кроху мгновенья, попытаться забыть её, —

нет, вовсе не для того была она мне дарована, вовсе не для того переполняла меня, чтобы в мыслях моих, порою смутных, или сумбурных, или ясных, любых, могло подобное промелькнуть, —

какое там! – наоборот, с каждым годом всё приближается ко мне эта дальняя осень, всё отчётливей укрупняются дорогие черты её, чародейским алмазом оттачиваются все, даже самые малые, детали её и грани, —

и она подходит вплотную, приближает лицо своё, чистое, молодое, белое, свежее, золотым озарённое светом, и взгляд её ясный встречается с усталым взглядом моим, и силы в душу вливает, и легче тогда мне дышать,

и слышу я голос её, молодой и прекрасный, и зов её, неустанный, негромкий, но властный, в ночи различаю вновь, и рвусь к ней – сквозь время с пространством, сквозь век, с его самозванством, сквозь боль, с её постоянством, сквозь жизнь и сквозь речь свою, —

и я возвращаюсь к ней, возвращаюсь я, – ко всему несбывшемуся и сбывшемуся, с утратами не смирившемуся, с прозрениями сдружившемуся, к началу самому чаяний, к истоку прозрачному веры, к далёкой заре любви,

ко всему, что было моим, и доселе, свидетелем Бог в небесах, никуда не ушло, никому в минувшем не отдано, никогда в скитаньях не предано, что сберёг я свято в душе, что про-

нёс через годы трудные, под звездой высокой моей,

что со мною осталось, да так, что давно уже, так получилось по судьбе, стало мною самим, стало всем, что меня составляет, что возможность дышать оставляет, естественном, волшебством, одиночеством, ясновидчеством, празднеством, творчеством, всем с людьми и с природой родством,

всем, чем жив я, чем в мире поддержан, что само без меня не может, как и я не могу без него, что сумело меня спасти, как и я его спас от забвенья, взяв из памяти нити и звенья, — пенье, счастье, страданье, горенье, — навсегда, — обретенье пути.

Когда ты ещё так молод, и рад, что живёшь в Москве, о которой мечтал так истово там, у себя, в провинции, а теперь ты житель столицы, студент университета, и, несмотря на учёбу, ты совершенно свободен, сам предоставлен себе, независим, насколько возможно,

волен сам, без чьих-то подсказок, распоряжаться временем, не чьим-нибудь, а своим, собственным, личным, точным, вполне возможно, бессрочным, да ещё и пишешь стихи, больше того, твёрдо знаешь, что ты поэт, и тебя уже знают здесь именно как поэта, —

жизнь таинственным свитком, охотно, как будто играючи, быстро, легко, разворачивает именно перед тобою, пришельцем издалека, неофитом, гостем восторженным, самые

невероятные возможности, и остаётся лишь выбирать из них наиболее интересные,

и ты, человек по натуре домашний, довольно замкнутый, с детства сосредоточенный на думах вечных своих, жить начинаешь вдруг в совершенно ином ритме, а может, в другом измерении, сам толком не понимая, что с тобой происходит, почему же так получается,

ты превращаешься, надо же, ну и ну, в человека богемного, и знакомства твои всё больше не светские, а богемные, ты почти в Париже, не так ли, карнавалы, пирушки, миракли, довольно воображения, ты вольная птица, ты вправе, стремясь к победе и славе, сам принимать решения,

ты дышишь свободой, при всей несвободе советской, которую ты, как и дружеский круг твой, да и все вокруг, не желаешь принять во внимание, так она для тебя несущественна, благо младость всегда естественна, да и радость, возможно, вещественна, то-то смотрит на мир торжественно и гуляет честная компания,

ты всегда устремлён в грядущее, новизны и отваги ждущее от людей, далеко ведущее, чтоб воочию видеть сущее там, где примут и где согреют, и в пути своём ты намаешься, но идёшь и ввысь поднимаешься, чтоб в годах, где казнят, не жалуя, слышать музыку небывалую – в ней, и только, речь твоя зреет.

А Москва хороша! Сентябрь, и небо то ласково-синее,

то лиловое, то седое, смутно-мглистое, с ветерком, и листва желтеет, алеет, и срывается вдруг с ветвей, и летит, кружась над землёй, в даль куда-то, сквозь время, в пространство, и город – кругами, кольцами, звеньями, клиньями, сферами, светлый, просторный, новый в древности, в тайне своей, и всё это – для тебя, и ты для этого – здесь, чтобы помнить об этом повсюду, где бы ни был в грядущем ты, и выются в воздухе звонком тончайшие нити духовные, и вселенские связи незримые, столь щедро сущим даримые, ощущаются, в общем единстве, в цельности восприятий, наитий и вероятий, в достоверности бытия.

Жил я тогда, в период молодости крылатой, на милой мне Автозаводской, весьма из себя оживлённой, достаточно многолюдной в определённые, утренние и вечерние, с их толкотнёй, ненавязчивой и привычной почему-то, часы дня, как-то в меру, без перебора, заполненной легковушками, автобусами, троллейбусами, фырчащими грузовиками, кое в чём типично столичной, но, впрочем, и это существенно, порядком-таки отдалённой от форсистого, яркого центра, не подчёркнуто вовсе окраинной, нет, конечно, это не так, но уж точно, так выходило, так мне виделось, так получалось, несколько провинциальной, благодаря своим на удивление тихим, не по-московски просторным, с закоулками, с заковырками, с подворотнями и деревьями, разросшимися широко и свободно, как на приволье, миролюбивым, спокой-

ным, добродушным, уютным дворам, ну а также, казалось мне, по причине присутствия сквера, пусть и узкого, но зато растянувшегося во всю свою, не измеренную никем из приезжих и горожан, удивительную, наподобие долговязой ко-сы приморской, с неизменным шелестом лиственным вдоль ограды сквозной, длину, островную, с пространством, выделенным для прогулок и медитаций, посреди двух дорог, ведущих в неизвестность сплошную, улице, всего-то, представьте, в нескольких, пустяковых, коротких минутах неторопливой ходьбы от одноимённой станции спасительного метро, в непосредственной, ближе некуда, близости от знаменитого когда-то гиганта отечественного автомобилестроения, завода серьёзного «ЗИЛ».

Возможность пожить в пустующей годами целыми комнате небольшой, обжитой, с минимальным соседней числом, коммуналки предоставили мне знакомые. Месяца три-четыре, а может быть, и подольше мог я здесь обитать.

Потом придётся, наверное, смиренно мне перебраться в общежитие МГУ, но ведь это будет – потом.

А сейчас я себя ощущал хозяином положения.

Было, было ведь у меня московское, вот что здорово, не какое-нибудь, на птичьих, никудышных правах, шаг туда, шаг сюда, не шуметь, не мешать, не сорить, не ходить, не звонить, нет, хорошее, полноценное, замечательное жильё.

Пусть и временное, да зато, согласитесь, почти своё.

Восемнадцать, всего-то, лет, восемнадцать, уже так много, мне казалось, целая груда привезённых с собою стихов, стопка книг, любимых настолько, что расстаться, хотя бы на время, ни за что бы я с ними не смог, и возил их повсюду с собою, и привёз их сюда, в Москву, что, представ предо мной наяву, приняла меня и приютила, словно так вот и надо было, словно так вот и полагалось, чтобы всё к ней само прилагалось, одежда – какая была, стол, и на нём приёмник, из которого тихо лилась, растворяясь в пространстве, музыка, огромное, старомодное, многостворчатое окно, из которого плавно струился прямо в комнату, заполняя всю её, целиком, широкий, пульсирующий, осенний, предвестьем всех воскресений и всех грядущих спасений мерещившийся недаром, божественно ясный свет, – какое счастье, какое блаженство, и всё под руку, присутствие воли, покоя, и равного этому нет!

Вставало солнце, и я просыпался, тут же вставал, щурясь от ярких, радостных, бивших в окно лучей, умывался, заваривал чай, пил его за своим столом, поставив чайник и чашку посреди разбросанных рукописей, включал по привычке приёмник, слушал мажорные, звонкие, с огоньком, с неизменным задором, утренние мелодии, потом собирался неспешно, выходил вразвалочку из дому, ехал в университет, в старое, милое здание на Моховой, на занятия, или же,

пропуская их, отправлялся бродить по Москве, и так вот изо дня в день, всегда и везде на подъёме, с оптимизмом, вовсе тогда, в годы прежние, не удивительным, с хорошим, всегда, настроением, с постоянным, на редкость острым, замечательным ощущением вхождения, даже вrastания в неизменную новизну постигаемой мною ныне, лишь меня одного дожидавшейся и дождавшейся наконец, состоявшей, это я знал, со всеми своими градациями и бесчисленными подробностями, из безграничного слова: быть! – созидательной, творческой яви.

Я возвращался домой, переполненный впечатлениями. Я писал стихи. Разумеется. Как же было их не писать! Сохранились не все они. Так уж вышло. Так получилось. Изрядную часть, в сердцах, в состоянии мрачном, тяжёлом, в наваждении, что ли, нахлынувшем, я однажды вдруг уничтожил.

(Многое, слишком уж многое, потом уже, позже, в период нашумевшего нашего СМОГа, в начале гонений, в апреле, тоже я уничтожил, сознательно, собственноручно.

С воспалённой головой. Почти обречённый. Измученный бессонницами, безнадёжностью положения своего, подвешенностью состояния – между славой тогдашней и явным крушением всех надежд молодых. Возможной тюрьмой.

Уничтожил. Битком набитый моими стихами ранними да ещё и прозой тогдашней, вместительный саквояж.

Зачем? Не знаю – зачем. Отчаяние охватило.

Находились приятели рядом. Ну и что? Молчали. Смотрели.

Никто из них, очевидцев, не удержал меня.

И жгучее, самое первое, ранящее сомнение в истинности отношений, которые, по наивности всегдашней, считал я дружбами, шевельнулось тогда во мне.)

Но всё это было ещё впереди, в отдаленье неясном, и казалось оно мне прекрасным, – и об этом, пока что, конечно, вдохновенный, подвижный, беспечный, молодой, ничего я не ведал. Тогда, удивительной осенью шестьдесят четвёртого, жил я Москвой, поразившей меня красотой своей, жил стихами.

Некоторые из них уцелели, даже, частично, вошли в мои ранние книги.

Звук их, протяжный, чистый, живой, возникал то и дело, приходили новые строки, свободно, сами собою.

Я порою записывал их.

Иногда, поначалу, так, вдруг, зачем-то, по странной потребности, по причине какой-то загадочной, чтобы выплеснуть некие образы на бумагу, от случая к случаю, как-то исподволь, под настроение, но потом всё чаще и чаще, увлечённо, всерьёз, рисовал.

Очень много, нередко запоем, одержимо, пожалуй, читал.

Покупал, бывало, настроившись на волну благодушную некую, в нашем скромном, с виду окраинном, небольшом,

но зато под боком находившемся гастрономе бутылку, зелёную, длинную, российского полусладкого, недорогого, приятного, лёгонького вина, граммов двести, не больше, грудинки, в соседней уютной булочной – белый хлеб за двадцать копеек, большой батон, аппетитный, с подрумяненной корочкой, свежий и пахучий, быстро вбегал по ступеням широким лестничным к себе на этаж, заходил в квартиру, потом в свою комнату, за столом поудобней устраивался, в одиночестве пировал.

По ночам в соседнюю булочную, нашу булочную, привозили горячий, только что выпеченный в районной хлебопекарне, с пылу, с жару, свежайший хлеб, и, когда я домой возвращался поздно, за полночь, то всегда покупал его здесь и ел, с удовольствием неизменным и доселе мне памятным, прямо на ходу, во дворе, на лестнице, на пороге спящей квартиры.

Некоторые, не все, разумеется, только считанные, обитатели ближних домов, и особенно пенсионеры, старики и старушки с авоськами, приготовленными заранее, специально сюда приходили ночью, чтобы купить этот хлеб.

Он был вкусен, и чёрный, и белый, любой, всенародный хлеб, вкусны были и горячие, румяные, пухлые булочки.

Во дворе, вплотную почти к распахнутой двери булочной, возле чёрного хода, хозяйственного, подъехав умело так, что ни дальше, ни ближе нельзя приблизиться, тихо сто-

яла грузовая машина-фургон с привезёнными для продажи ранней, утренней, бойкой, свежими, нарасхват обычно идущими, для людей важнейшими, хлебными, то есть главными впрямь изделиями.

Её разгружали хмурые, молчаливые, сильные грузчики.

Сноровистыми, отработанными движениями они вытаскивали деревянные поддоны со свежим хлебом и до невозможности просто аппетитными, нежными булочками, от которых облаком белым поднимался горячий пар, и, один за другим, привычно для себя, как-то слишком быстро, взад-вперёд косолапо шагая, относили их в магазин.

Вокруг машины, кольцом, толпились пенсионеры.

Выходила весьма упитанная, закутанная платком, приёмщица свежего хлеба, продавала его старикам.

Никому никогда, ни разу, сколько помню я, не отказывала.

Старики, получившие хлеб, загружали его в авоськи, чтоб сподручней было нести, но потом, удержаться не в силах от соблазна, по-детски просто, по чуть-чуть, ну в точности так же, как и я, горбушку надламывали, надкусывали с удовольствием хлеб, хрустящий, свежайший, прямо на ходу, потому что стерпеть, не попробовав хоть кусочек, невозможно было, и, шаркая негнушимися ногами по выщербленному асфальту, с довольным, весёлым видом, по своим расходились домам.

Здесь же, на запах дразнящий вкусного свежего хлеба, со-

бирались ещё и собаки. Они виляли хвостами и смотрели людям в глаза. Все охотно их угощали.

В черноте прохладной, осенней, государственной, общей для всех, участливой, миролюбивой, даже, вроде бы, гостеприимной, по-своему, разумеется, по-хорошему доброй ночи москвичи жили хлебом единым, да и не только им.

Где-нибудь, неведомо – где, всё едино и всё в разброде, всё и в сердце, брат, и в природе, всё кругами пойдёт по воде, то и дело да раздавался то возглас, то смех, то плач, то шальной, хмельной, забубённый, подгулявший обрывок музыки вылетал из окошка, распахнутого, по традиции, в никуда, благо дальше некуда просто вырваться из городов, то сирена вдруг милицейская, поперхнувшись, истошно выла, то – да мало ли что ещё где-то рядом происходило.

Но, в общем-то, вся, как есть, без прикрас и соплей, обстановка была достаточно тихой, вполне, полагаю, мирной, не опасной отнюдь, и вовсе не почти фронтовой, с горячими точками пресловутыми на любом шагу, как сейчас.

Машина-фургон, хлебовозка, разболтанная, скрипучая, пропитанная насквозь ароматным, устойчивым запахом различных изделий хлебных, разгружалась и уезжала.

Двор постепенно, как водится, необратимо пустел.

Дома, в уютной комнате, за столом с моими бумагами, с ветерком законным, я ел свежий хлеб, запивая его терпким холодным чаем.

И вполне был доволен и счастлив.

А когда покупал вино и, глоток за глотком, в тепле коммунальной уютной комнаты, пусть и временного пристанища, ненадолго, да моего, не какого-нибудь, столичного, по московским понятиям отличного, для меня-то, для одного, неторопливо пил его за своим столом, у окна, тогда, с умилением, накрепко со вздохом невольным, по радости ли, по молодости ли, связанным, вспоминаю, отшельник нынешний, набродившийся в годы прежние вдосталь, видимо, скиф седой, почему-то и состояние мыслей, сердца, души, всего естества моего тогдашнего, у меня бывало особенным.

Вино, пускай и хорошее, по тем временам, не халтурное, не убойное, как позднее, среди всеобщего пьянства на просторах родной державы, небольшой, в меру самую, крепости, всё-таки, незаметно, давало себя знать.

Приятнейшее тепло разливалось неожиданно по жилам.

Я чувствовал, с изумлением, забавным теперь, что хмелею.

Включал приёмник, среди множества голосов, звучащих в эфире, шумов, трескотни цикадной, разноязычных слов, новостей, обрывков мелодий, сообщений о достижениях на пути в наше светлое завтра, призывов, докладов, лозунгов, директив, обличений, песен о рабочих и космонавтах, находил хорошую музыку, с настроением, слушал её.

Вечерело, и широченное, в красных пятнах закатных, тускнеющих, исчезающих разом, окно постепенно синело,

чернело. На стекло налипали жёлтые, сорванные с деревьев окрестных, влажные листья, брошенные на него с размаху резким, как окрик, холодным порывом ветра.

Начинался вечерний дождь.

Поначалу он просто накрапывал.

Но вскоре уже упругистые, тугие струи его, словно длинные стебли, срезанные под корень лезвием ветра, за окном проносились моим вкось куда-то – и падали наземь.

На оконном стекле, рядом с ярким отражением лампы настольной, всей комнатной обстановки, стола, моего лица, сгущались крупные капли, превращались в бойкие струйки, в ручейки, полноводные, бурные, непрерывно стекали вниз.

Музыка законного дождя разрасталась и смешивалась с музыкой для настроения, раздающейся из приёмника.

Стекло, между тем, туманно, плотно запотевало, и отражения в нём теряли чёткость былую, становились размытыми, смутными, двоились, медленно таяли.

Меня клонило ко сну.

Я засыпал под шум дождя, идущего ночью, чтобы проснуться утром грядущим привычно рано, совершенно бодрым, здоровым, – и новый день начинался, и всё у меня начиналось, как и прежде, празднично, сызнова, хоть всякий раз и по-разному, и я был готов неизменно к продолжению новизны осенней, и осень всё длилась, не спешила меня покинуть, и верность её всегдашняя всему, что в душе хранил я, была для меня дорога.

Лирика, скажете вы.

Лирика, так вы решите.

Да, лирика. Та, в которой уже назревал и эпос.

Тема и вариации.

Голос и свет. Из прошлого.

Память. Отзвуки праздников.

Музыка сентября.

Жизнь моя, поначалу размеренная, но потом, уже вскоре, поскольку иначе не получалось в столичных ритмах, порывистая, стремительно становилась чрезмерно бурной, насыщенной всевозможными, большей частью интересными для меня, иногда и действительно важными, для сердца и для души, для творчества моего, в условиях новых, событиями.

Собственно, всё абсолютно вокруг меня было событием.

Воспринималось мною в ту пору – именно так.

Встречи ли это были, знакомства ли, приключения ли какие-нибудь, путешествия, – всё принималось мною близко к сердцу, так выходило, заставляло над этим задумываться, запоминалось надолго, может быть – навсегда.

В самом конце нагрянувших с новшествами своими, «судьбоносных», как говорилось в то время, восьмидесятых Саша Величанский написал:

– В 1964 году на исторический факультет МГУ был принят никому не известный абитуриент по имени Владимир

Алейников. Через год его знала вся «литературная» Москва в качестве одного из ведущих поэтов литературного направления СМОГ.

Это вроде и так, но всё-таки, всем скажу, не совсем верно.

В шестьдесят четвёртом году я как раз был уже известен в Москве, пусть и «литературной», но и это уже, согласитесь и поймите меня, господа и дамы, было немало, и эту известность, реальную, следовало заслужить.

Не так-то просто она, между прочим, к другим приходила.

Но ко мне такая известность пришла почему-то сама.

Причём, если точным быть, пришла она годом ранее, осенью шестьдесят третьего, в чудную пору, когда я впервые долго жил в столице и познакомился с людьми хорошими, ставшими, на все времена грядущие, моими друзьями, приятелями и просто знакомыми добрыми.

Среди них это, в первую очередь, Дима Борисов, Володя Брагинский, Аркадий Пахомов, Коля Мишин, Саша Морозов, Зина Новлянская, Слава Самошкин, Юра Кашкаров и прочие москвичи, все – участники многим памятного литобъединения, названного, в романтическом духе, в тон поветриям шестидесятых, «Бригантина», существовавшего, процветавшего на филфаке МГУ, поначалу, потом, без всякой официальной, чуждой всем нам, – просто друзья, круг, достаточно тесный, с осени шестьдесят четвёртого ставший, постепенно, закономерно, так уж вышло, всё разрастаться.

Были они людьми образованными, в разной мере, больше,

меньше ли, но способными, для меня – всегда интересными.

Они, столичные жители, золотая, сплошь, молодёжь, со своими свободными нравами, со своими на редкость широкими замашками, так естественно сочетающимися с трезвейшим, без восторженности малейшей, без наивности невразумительной, жёстким, цепким взглядом на жизнь, на историю, на политику, на действительность, на искусство, на любовь, на веру, на дружбу, меня, человека приезжего, провинциала, приняли – сразу же, безоговорочно, приняли – навсегда.

Оценили, признали своим.

Вот отсюда всё и началось.

Так что в том сентябре незабвенном, о котором я говорю, череда знакомств моих только стремительно увеличивалась.

Тьма-тьмущая как на дрожжах расплодившихся в одночасье литобъединений московских, на которые аккуратно приходили, как на работу, что-то пишущие москвичи, процветала тогда – и все они зазывали меня к себе.

Здесь уместно будет заметить, да к тому же это ещё и занятно, и показательно, в чём пришлось убедиться мне, вот что.

Когда я, в кои-то веки, минувшей зимой, в декабре, наконец-то выбрался на люди, в литературный клуб, находящийся в помещении бывшего, разумеется, группкома, так он, представьте, назывался встарь, литераторов, где состоял

и я в первой, тяжеловатой, половине восьмидесятых, в стареньком флигельке, в Георгиевском переулке, поддавшись на уговоры клубного руководства почитать там хотя бы фрагменты неизданных книг моих, и, впервые в жизни моей читая прилюдно прозу, для меня самого ещё свежую, а совсем не стихи, пусть и старые, пусть и новые, всё равно, что куда для меня привычнее, поведал собравшимся слушателям об Игоре Ворошилове, друге моём покойном, великом русском художнике, и это были куски прозы о Ворошилове, называющейся «Добрый пастырь», – я увидел в зале, с немалым, прямо надо сказать, изумлением, нескольких очень давно, с осеней шестьдесят третьего – шестьдесят четвёртого, с тех, ключевых, молодых, камертонных времён, знакомых мне персонажей, посетителей неизменных тех самых, давнишних, бесчисленных, московских литобъединений, кочевников по людским сборищам, по тусовкам, как теперь говорят, по традиции, полагаю, забредших сюда.

Постаревшие, сплошь седые, некоторые и вовсе настоящие старики, они точно так же, как некогда, встарь, в молодые их годы, живо, даже азартно, впитывая в себя каждое слово моё и потом непременно высказывая своё весомое мнение, бывшее, почему-то, всеобщим, сплошным одобрением, реагировали на моё первое клубное чтение.

Вот что значит сила привычки!

Удивительное постоянство!

Что за страсть такая великая неуклонно движет людьми?

Обязательно им, всеядным, всеведущим, надо присутствовать на всяких собраниях, чтениях, чувствовать и свою причастность к тому пресловутому, неведомо кем и когда, в муках, никак не иначе, в бессонные ночи, видать, однажды изобретённому, вместо кроссворда или шарады, «литературному процессу», подумать ведь только, процессу, ни больше ни меньше, который на деле является результатом трудной работы одиночек, веками, да что там, эпохами, тысячелетиями, одиночек, и только их, как всегда, но никак не толпы.

Выходит, почти сорок лет присутствовали они там, где что-нибудь из написанного кем-нибудь и когда-нибудь, недавно или давно кто знает, стихи ли, прозу ли, читают и обсуждают.

Пишут вроде и сами.

Но куда важнее для них – числиться, состоять, скопом, при литературе, вроде бы тоже участвовать в неудержимом, таинственном, вечном её движении.

Но это ещё не всё.

Куда больше меня, столь редко, на протяжении многих, с работой над книгами связанной, чередую прошедших лет, выбирающегося куда-то к людям, любящим пообщаться меж собою, потолковать, по старинке, о том, о сём, о немногом и обо всём, изумила молва людская, её глобальные, прямо-таки фантастические возможности.

Уже через день буквально после чтения моего знали о нём

все, не только в Москве, но и в Питере, и в провинции знали тоже, и даже в моём родном городе Кривом Роге, на Украине, а чуть позже – и в прочих странах зарубежных, поскольку сведения о моём единственном вечере попали незамедлительно, сразу же, в Интернет.

Мне звонили разные люди – и всех их, ну просто вынь да положь как можно скорее, очень интересовала моя мемуарная проза, и все они в один голос, как будто бы сговорившись, первым делом взволнованно спрашивали: скоро ли, да когда, и где, её издадут?

Вот что такое молва.

Такою же, как сейчас, в дни свободы, а то и похлеще, была она, припоминаю с улыбкой, и в шестидесятых.

Стоило мне появиться где-нибудь, почитать там стихи, как об этом событии сразу же узнавали решительно все.

Отсюда и всё растущая, год от года, известность моя.

Так что, любезный читатель, Величанский, выходит, ошибся.

Не в смогистские времена пришла она, эта известность, но раньше, значительно раньше.

Говорю я теперь об этом совершенно спокойно, без всякой гордости за былые достижения и удачи.

И не такое бывало.

Просто – в зрелых своих годах, по возможности, восстанавливаю историческую справедливость.

Это как раз Величанский был ещё неизвестен, когда мы, той же осенью шестьдесят четвёртого, с ним познакомились и вскорости подружились.

И это именно я охотно знакомил Сашу со своими друзьями тогдашними, с людьми своего круга, то есть, как и всегда у меня, сплошь и рядом, это бывает, из приязни к нему, да ещё и по доброте душевной, способствовал всячески, рьяно, сознательно, целенаправленно, росту его известности, в Москве и не только в ней.

Относится это, кстати, замечу, не только к Саше.

Творчество многих знакомых в самиздатовскую эпоху пропагандировал я настойчиво и упрямо, самолично перепечатывал, на машинке пишущей, в нескольких экземплярах, само собою, и передавал их тексты, стихи, переводы, прозу, своим друзьям, и в столице, и в провинции, разумеется, чтобы и там их узнали.

Известность в Москве в то время была у меня уже прочной.

Я вхож был в литературные дома и салоны различные, в том числе и такие, куда людям с улицы ходу не было.

Со мною стремились – как странно вспоминать о таком – познакомиться.

Искали – сами, без всякого принуждения, – дружбы моей.

Конечно, это приятно. Тем более, в пору, когда тебе всего восемнадцать лет.

Мне прочили, с основаниями серьёзными, полагаю, блестящее, да и только, и никак не иначе, будущее.

Собственно, всё это громкое, с похвалами и заверениями в чём-то радужном впереди, говорение началось ещё до московской жизни богемной, на Украине, поначалу в моём родном городе Кривом Роге, где я вырос и начал писать, вперемешку, стихи и прозу, где писания эти мои ранние были замечены вовремя, вот что существенно, местными литераторами, и вскоре уже одобрены и признаны ими, а также читателями и слушателями нашими, а потом в Днепропетровске, где, на совещании (действе официальном, с размахом, с широкой оглаской, с газетными публикациями в областной периодике, словом, всем, чем щедра советская власть была) молодых литераторов Приднепровья, в начале того же переполненного событиями до предела, до невозможности, каковая была возможной, по судьбе, шестьдесят четвёртого, я произвёл фурор своими стихами тогдашними, да такой, что лишь в сказке бывает, как меня уверяли потом, и на меня приходили целыми толпами всякие участники совещания и люди со стороны, ценители и любители поэзии, просто, как водится, поглазеть, пообщаться, послушать, как я читаю свои опусы стихотворные, а литературные, в силе, при власти и при чинах, генералы и воротилы зазывали меня к себе в Киев, обещая поддержку всяческую, например, конкретную помощь с поступлением предполагаемым, скорым, в университет и широчайшие прямо-таки в будущем

перспективы, только бы я откликнулся на их, воротил чиновных, заманивание усердное, на что я, уже учёный кое-чем и школу прошедший суровую, но полезную, разумеется, не пошёл.

Забавно, что происходило это уже после грозного хрущёвского, с громом и молниями, невиданного разгрома всяческих формалистов, негодных властям, затронувшего и меня, со злыми, бичующими юные и наивные, но и свежие, непривычные для партийцев, мои писания, статейками в областной и республиканской, то есть родной украинской прессе.

Но этого почему-то вроде бы как и не было.

Столь велико желание было у киевлян – заполучить меня, талантливого, молодого парня, да поскорее, перетащить к себе.

Однако, давно принявший своё решение, личное, независимое, по чутью, как всегда, я уехал в Москву, поступил в МГУ, освоился в столице – и начал жить, сразу же, безоглядно, той жизнью свободной, которой ещё со школьных, с мечтаниями в романтическом духе, лет, я терпеливо, стойко, с надеждой на чудо, ждал.

Жизнь в столице на первых порах меня, человека приезжего, становившегося москвичом постепенно, хоть и в ускоренном темпе, как в музыке жизни случается иногда, не сплошь и рядом, поверьте, лишь изредка, только радовала.

Известность моя, вначале бывшая устной, с голоса, по причине чтений моих частых образовавшаяся, уже, пускай и не сразу, входила в стадию письменную, самиздатовскую, потому что появились в кругах богемных, а потом и среди любителей новейшей литературы списки, энтузиастами сделанные от руки, по горячим следам, как водится, и машинописные копии тогдашних моих стихов.

Это, новое, обстоятельство, эта, новая, ипостась – восприятие текстов моих читательскими глазами – было более важным, нежели привычное чтение вслух и восприятие этих звучащих стихов со слуха, пусть оно и бывало в те дни поразительным, слова точнее не найти сейчас, и не надо мне искать его, – для меня.

Это внутренне встряхивало, собирало, как-то подтягивало, ко многому, благо было на кого равняться, обязывало.

Да, все, как один, говорят, что читал я встарь замечательно.

И сам я прекрасно знаю, что было это – искусство.

Традиционное наше, певческое, орфическое.

Но читать непростые тексты с листа, сознательно быть наедине с конкретным, открывающимся не сразу и сознанию, и сердцу, текстом, – это ещё серьёзнее, это всегда испытание для поэта – как и насколько верно, так ли, как надо, воспримет вещи его, существующие на бумаге, в записи чьей-то, или в машинописи, без всяких официально изданных книг, такого и в мыслях не было ни у кого, на это и не надеялись,

об этом и не мечтали, ни пишущий, ни читающий, нам все издания, оптом, вполне заменял самиздат, – не слушатель, а читатель.

Остаюсь при своём, незыблемом, ни на йоту не изменившемся, по прошествии времени, мнению, скиф-отшельник, я и сейчас.

Хотя, скажу напрямик, некоторые из тех, уцелевших, чудом, возможно, выживших, прежних друзей и приятелей лет, ушедших навсегда, могикане богемы, хорошо, до подробностей, помнящие, как я раньше читал, то и дело выражают желание общее, при нынешней-то развитой технике, сделать студийные записи чтения моего.

Желание это действительно ведь не просто так, не от печки, не с бухты-баракты высказано.

Это, если подумать, важно.

Не будет меня на свете – уйдёт со мной и моё искусство – личное, кровное, вне канонов, – искусство чтения.

А так, вполне вероятно, при наличии видеозаписей, глядишь и включит какой-нибудь грядущий любитель поэзии видеомэгафон, поставит кассету нужную, поудобнее расположится – да и станет, в домашних условиях, не выбираясь из дому ни на какие там вечера поэзии, где-нибудь идущие, и ни в какие литературные клубы, с комфортом, в тепле, в уюте, чтение слушать моё, а заодно и смотреть на меня – что за птица такая, залетевшая издалека прямо в завтра, к счастливым потомкам, что за зверь такой, из берлоги, не

иначе, из ямы какой-то, из разверстой дымящейся бездны, из двадцатого странного века, где искать с фонарём человека днём занятие рядовое, для поэтов даже привычное, а сказать поточнее, типичное, коли ты существо не тепличное и рискуешь при том головою, что за тип такой перед ним, кем и чем был он в жизни храним, как успел написать столь много, что за дар у него от Бога, – или, может, в компьютер диск, на котором записей прорва, вставит как-нибудь под настроение кто-нибудь – и глядит на экран, где, сквозь давних времён туман, сквозь белёсые наслоения, сквозь пространство, преодолённое так легко, что везде мне дом, находясь в измеренье другом, я читаю стихи, – дело техники, современной и своевременной, зафиксировать чтение это, ну а техники песня не спета, и пределов ей, видимо, нет, – вот и голос мой выйдет на свет, голос прежний, чтение, звук, – ночь со снегом и век со СМОГОм, жизнь, скитания по дорогам, ключ и клич, магический круг, за которым – начало встреч, имя времени, путь и речь...

Годы идут, впрочем, а желание энтузиастов, по инерции существуя в их мечтах, в головах их седых, доселе, само собою, остаётся неосуществлённым, потому что никак не найдутся деловые ребята, толковые, современные, с аппаратурой соответствующей, которые пришли бы ко мне однажды да и сделали видеозаписи.

Странное, нет, не странное, закономерное, видимо, незаметно, исподволь как-то выработалось, оформилось и спо-

койненько прижилось посреди междувременья нашего отношение так называемой общественности, категории весьма условной, ко мне – мол, существует Алейников где-то осторонь от всего и от всех, очень много работает, всё в трудах своих праведных, вечных, ежедневных и ежечасных, год за годом, десятилетиями, стал затворником, говорят, он и раньше был таковым, утверждают люди бывалые, а теперь-то совсем затворился у себя в Коктебеле, у моря, в киммерийском доме своём, никуда не ходит, не видит никого, только пишет и пишет, значит, жив ещё, ну и ладно.

Я, может быть, и ворчу, далеко не всегда, иногда, если что-нибудь или кто-нибудь, как теперь говорят, меня даже здесь, в укроме спасительном, в коктебельской глуши, достанет, на моих современников, что ж, это моё право.

И я ещё жив, представьте, это действительно так.

И, с Божьей помощью, я постараюсь пожить ещё, подольше, насколько возможно, чтобы сделать больше, поскольку велик мой потенциал, как говорят, со значением, литературные критики, чтобы хотя бы часть своих, неизменно требующих работы и вновь работы, Водолеевских, то есть фирменных, максималистских замыслов, осуществить, воплотить в слове, как выражаются участники постоянные неведомо кем придуманного, неведомо где идущего зачем-то «литературного процесса», может быть – шествия, может – и карнавала, по Бахтину, возможно, а может быть – и процессии, но какой? – погребальной? праздничной? – нет ответа – и трой-

ка мчится, неизвестно – куда, и Русь тоже движется – но куда? – в завтра, что ли? – неужто вправду в светозарное наше завтра, нам обещанное давно? – или, может быть, всё равно, всё едино в мире подлунном, и ударит опять по струнам некто с краю, раз, ещё раз, ещё много, много, не раз, этих самых гитарных раз, напоказ или прозапас, то с похмелья, то с пьяных глаз, – и в процессе, любом, культурном, даже в этом, «литературном», что-то, видимо, всё же есть, честь и совесть, благая весть, лесть ли, месть ли, напасть и власть, за которой, напившись всласть чьей-то крови, встаёт кошмар, мор, угар, мировой пожар, – смотрит Гоголь на этот бред из имперских далёких лет, говорит иногда со мной в тишине затвора сквозной, по привычке, о том о сём, о немногом и обо всём, а потом помолчим вдвоём, каждый с думою о своём, попросаемся – и опять надо мне о былом писать, – вот и весь, для меня, процесс, и, поймите вы, не исчез никуда я, тружусь всегда – и светла надо мной звезда.

Но я говорю сейчас о важном, во всяком случае, для себя, старика, – о внимании.

Ведь было – искусство чтения.

Наиболее развитое – у меня и у Лёни Губанова.

Губанов ушёл – и его искусство с ним тоже ушло.

Кто его хоть разок услышит – и теперь, и когда-то потом?

Вот, например, концерты Вертинского не записаны, пусть это и другая область. Утрата огромная. Теперь мы слушаем – просто голос, пусть и чарующий. Могли бы – ещё и видеть,

могли бы, с помощью записи, – присутствовать, при желании, на этих давних концертах.

Своевременное внимание – так ли много его у нас, в нашей, вроде бы не равнодушной к людям, полной загадок стране?

В шестидесятых внимание – было, ещё и какое! Представьте, тою же осенью шестьдесят четвёртого, я, человек молодой, стихи свои читал даже в Доме Союзов.

И туда меня затащили.

Голову мне внимание это, равно как и вдруг появившаяся, как в сказке, молодая моя известность, вовсе, насколько помнится, ни капельки не кружили.

Как всегда, никаких личных выгод для себя из такого фарта и не думал я извлекать.

Общение! – вот что было негласным всеобщим лозунгом добронравного этого времени.

Девизом? Ну, пусть и так.

Общение! Все – хорошие! Все решительно – интересные!

Вон сколько людей способных и талантливых даже вокруг!

Братцы, это же впрямь новый, наиновейший, удивительный Ренессанс! Не какой-то чужой – наш, отечественный!

Какие там стукачи, лубяньские штучки, доносы, наблюдение, выявление неугодных кремлёвским властям подозрительных всяких личностей, о чём временами, с оглядкой, полшёпотом говорят!

Наплевать нам на всё это, вот что!

Чего и кого бояться?

Надо всем повсюду общаться. Обо всём говорить в открытую. Почаще на людях быть. Жить – интересно, со вкусом, этак по-русски, с размахом. Жить, а не существовать.

Перемены – о, разумеется, к лучшему, только к лучшему, – грядут, назревают, мерещатся в грядущем, это уж точно, перемены – и в жизни страны, и в жизни любого из нас.

Всё к лучшему, правда? Не так ли?

Не сомневайтесь, вскорости будет ещё лучше.

Оптимистичность – она, знаете ли, хороша.

Все молоды. Все поголовно полны богатырских сил.

Общение! Жаждем общения!..

Вот каковы были общие настроения.

В том числе и мои собственные.

Во всяком случае – осенью шестьдесят четвёртого года.

Вскоре – всё изменилось.

Вскоре – пришлось нахлебаться мне такого, что было уже не до наивной, с бурей и натиском, оптимистичности.

Но это было – потом.

Нет, причин для того, чтобы, вздрогнув от предчувствия бед неминуемых в поле зрения, вмиг настораживаться, быть в седле, бить тревогу заранее, собираться в комок, защищаться от напастей – пока что не было.

Длилась осень. Сентябрь был огромен и светел.

Мир, открытый для песен, сиянием вставал предо мной.  
Какие дали, какие пространства мне открывались!  
Измеренья иные. Области, с новизной своей, для души.  
Планеты. Символы. Знаки.  
Созвездья. Галактики целые.  
Звёздный путь с земными дорогами.  
Путь духовный. Всегдашний свет.

Что читал я? Какие книги тогда меня окружали?

Пушкин, девятитомник, – и Хлебников, пятитомник, том  
неизданного, том избранного, томик в малой, компактной  
серии «Библиотеки поэта».

Гоголь, конечно, – любимейший шеститомник, в котором  
весь он не умещался, таинственнейший, пленительнейший  
поэт, в одиночестве, в творчестве, в жречестве, в провид-  
честве давнем своём, осторонь от суеты, в затворничестве,  
отдельно от всех, лишь сам по себе, везде и всегда, судьба  
такая, планида, с миром своим, сотворённым, личным, веч-  
ным, наедине, людям русским радетель, речи создатель, све-  
та хранитель, ведический гений, пророк.

Лермонтов, четырёхтомный, – и восьмитомник, синий,  
как плащ в стихах его: Блок.

Тютчев и Боратынский. Двоица: гений, ум.

Шевченко, его «Кобзарь», – и Тычина, ранняя лирика.

Фет и Некрасов. Грусть. Радость. За ними – Русь.

Батюшков и Державин. Музыка и судьба.

Карамзин и Крылов. Слова безупречные. Труд. Молва.

Жуковский, божественно светлый, и Алексей Константинович Толстой, воитель степной.

Волошин: его «Лики творчества», редкостное издание, самиздатовские поэмы и многие стихотворения, – и, сквозь ритмы взхлёб и смыслы круговертью, Андрей Белый: «Петербург», «Серебряный голубь», стихи, статьи, мемуары.

Бунин, скупо, с оглядкой, с опаской, как бы чего не вышло, издаваемый всё же тогда, потому что не издавать уже было нельзя, и вскоре появится девяти томник, – и Куприн, вполне подходящий для советских частых изданий, пусть не весь, но и этого хватит, пока что, ведь он – читаемый широко, и порой замечательный.

Толстой, светоносной глыбой звучащей – «Война и мир», и рассказы его, и особенно – «Казачьи», «Хаджи-Мурат», – и Достоевский, издавна раздражавший, но и притягивавший: «Бесы», труднодоступные «Дневники писателя», давнее, в мягкой обложке, издание.

Паустовский, на редкость чистый человек, педагог великий, весь решительно принимаемый и отстаиваемый всегда, и особенно «Повесть о жизни», – и Грин, человек особенный для меня, никакой не романтик, а несомненный мистик, знак на дороге вдаль.

Цветаева, самиздатовская, прошлой осенью переписанная от руки: большие поэмы, стихотворения, драмы, – а теперь уж и перепечатанная на машинке, догуттенберговская, как

сказано было, её великолепная проза.

Самиздатовская Ахматова: «Реквием», поздние вещи разрозненные, «Поэма без героя», кусочки прозы; изданные в советское время книги стихов, издания прежние, с их эстетикой, вкусом, стилем.

Самиздатовские: Гумилёв, «Огненный столп» и другие, чередою, книги его; Заболоцкий, «Столбцы», поэмы, великая поздняя лирика; Мандельштам, пятитомник стихов, потом – «Разговор о Данте»; Ходасевич, и прежде всего «Европейская ночь»; Северянин, восхитительный соловей; Клюев, скит, на крови, в глуши; Нарбут, ветер, полынь и воля.

Федерико Гарсиа Лорка. Страсть и тайна, боль и луна.

Пруст, «В сторону Свана», первый перевод, ещё довоенный.

Дос Пассос, парадоксальный коллаж, в переводе Стенича.

Ницше, «Так говорил Заратустра», вышедший до революции солидный том в золотой плотной суперобложке.

Андрей Платонов, страдалец, великий русский писатель, самый первый изданный томик прозы, сразу, надолго, ставшей откровением для меня.

«Полутораглазый стрелец» Бенедикта Лившица. Хлебников и Бурлюк. Заря футуризма. Цвет богемы. Пристальный взгляд.

«Люди, годы, жизнь» Эренбурга. Всеми нами многожды читанные мемуары. Окошко в мир заграничный. Париж. Писатели и художники. Судьбы сложные. Смелый шаг, по тем

временам.

Пастернак, стихи: самиздатовские (всем известные ныне) – из «Доктора Живаго», его «Вакханалия» фантазмагоричная, «Нобелевская премия», остальные – в изданных ранее книгах; проза его – «Охранная грамота», «Детство Люверс», прочие повести, некоторые, выборочно, статьи, самиздатовские – «Живаго», «Люди и положения».

Тынянов, трёхтомник, зелёный. Проза. Очень хорошая.

Булгаков, «Жизнь господина де Мольера», в молодогвардейской серии «Жизнь замечательных людей». Но ещё и ранние книги его, в двадцатых годах выходявшие. Далее – самиздатовская жемчужина, затрёпанная машинопись – нарасхват ведь – «Собачье сердце». Ну а «Мастер и Маргарита», из журнала «Москва», урезанный, с дополнениями самиздатовскими (все фрагменты, цензурой снятые) – это будет чуть позже, потом.

Олеша, том его «Избранных сочинений», изданных, помнится, в пятьдесят шестом году, и вот-вот уже выйдет книга «Ни дня без строчки», – и Катаев, писатель блистательный, с детства мною любимый, но, выяснилось вскоре, силу всё набирающий, чтобы долго всех изумлять новой прозой своей, небывалой, ещё до «Святого колодца».

Настоящий писатель, Юрий Казаков, человек, в природе свой, лесной, заречный, заоблачный, друг сердечный листьев и трав.

Самиздатовская, чудеса в колесе, да и только, «Автобио-

графия» Евтушенко, сочинение малоприятное.

Вознесенский и Ахмадулина, Аксёнов, с ним и Гладилин – были-то были, но вскоре отодвинулись далеко, потому что уже вырабатывался в те года новый угол зрения на всё, что издавали модные шестидесятники.

Двухтомник Хемингуэя, зарубежная, из основных, проза, взахлёб читаемая, нашей молодости далёкой.

Шервуд Андерсон, изумительный писатель. Из настоящих. Однотомник его, единственный, берегу, любя, до сих пор.

Мифы. Древняя Греция. Рим. Отголоски ведических преданий русских. Герои. Боги. Виденья, порою.

Гомер. «Илиада». Русский перевод. «Одиссея». С голоса. В саду моём. Или у моря. Ветер, треплющий волосы.

Античная лирика. Некие осколки. Фрагменты целого. Мир, никуда не ушедший. Отзвуки слова смелого.

Русские сказки. Чудо. Кладёзь премудрости. Право на первородство. Всюду – правда. Вечная слава.

Рембо, поначалу маленькая книжка, самая первая. Но и этого было достаточно, чтобы всё мгновенно понять. Потом – начинались поиски других изданий. Открытия продолжались. Тексты – события. Прочитать, впитать и принять.

Футуристы. Что попадётся. Что найдётся – чисто случайно. Вдруг отыщется. Позабавит. Озадачит. Потом – удивит.

Символисты. С ними сложнее – но и проще: слово скуднее. Несмотря на трудности смысла. Вроде алгебры: знаки,

числа.

Анненский – начинался не сразу: его присутствие в мире осознавалось постепенно. Дивный поэт пришёл ко мне чуть позднее, вместе с Музой своею, с мукой своей и с музыкой, равной которой – нет.

Груда целая самиздата: пародия на роман Кочетова, писателя советского, сверхкондового, «Чего же ты хочешь?», названная, в лоб слегка, с юморком, «Чего же ты хохочешь?» – не помню, кем сочинённая, – было такое произведение встарь, по рукам, забавляя нас, ходило в шестидесятых; Введенский, Хармс и Олейников – обэриуты – мир гротеска и парадоксов; ранние тексты Бродского, в основном образцы его поисков себя самого, своего стиля, строя и смысла, где попадались изредка полноценные, крепкие вещи; стихи московских поэтов, то есть Холина и Сапгира, Горбаневской и Красовицкого, ну и прочих, вразброс, и так далее.

Много читал я тогда.

Всего ведь не перечислишь.

Книги – рядом всё время были.

Книги – сами ко мне приходили.

Когда, внезапно, как правило, если есть хоть какие-нибудь, в таких состояниях, правила, ощущал я, всей кожей, хребтом, некий зов, знакомый до боли, неизменно всесильный и властный, то всё моментально бросал – и устремлялся в пространство.

Пригородные, грохочущие всем нутром своим, электрички уносили меня всё дальше от столицы, всё глубже в осень.

Я выходил, бывало, на незнакомом перроне, шёл наугад куда-то, лишь бы идти вперёд.

Леса вокруг раздвигались в обе стороны, передо мною, словно в живописи старинной, незаметно и постепенно, как во сне, так могло показаться, но, конечно же, наяву, раскрывалась весьма загадочная, с ускользящими от взгляда, словно в прятки со мной играющими, чтобы вновь укрупниться, выявиться так отчётливо и спокойно, что невольно я диву давался, очертаниями окрестных, передвижнических пейзажей, вся лучащаяся, бликующая, в жёлтых листьях, пятнах, мазках чьей-то кисти нетерпеливой, но чудесной, преображающей всю округу, похорошевшую от волшебного преображения, бесконечная перспектива.

Свет с небес преломлялся, как в линзе, в тёмной, сонной воде прудов.

На буграх, высоко над прудами, над водой, отражающей их белизну и ампирную стройность, одиноко стояли усадьбы.

На их фасадах, морщинистых, словно старческие, из прошлого дворянского, показавшиеся, чтоб остаться здесь навсегда, породистые, выразительные, по-своему добрые лица, колонны, прямые, строгие, неуклонно тянулись вверх, как старые, но, меж тем, всё ещё очень крепкие древесные, с твёрдой корою в рубцах и шрамах, стволы, и поблёскивали, поигрывали весёлые зайчики солнечные в зеркальной, по-

чти астральной, лаковой темноте раздробленных перемычками деревянными на ячейки, соты напоминающие, пыльных оконных стёкол.

Чирикали вездесущие, любопытные воробьи, картаво, по-тарабарски, покрикивали вороны.

От крыльца со ступенями, брошенными, наподобие веера, вкось, разбегались, ну прямо как запауски детвора, прямые дорожки, уходили в запущенный парк или дальше, в заглохший лес. Там просматривались деревни – деревянные серые избы, иногда уже покосившиеся, будто сложенные в гармошку, иногда, пореже, целёхонькие, с резными, по русской традиции, наличниками и ставнями.

Там пели взахлёб, неистово, часовыми в глуши, сторожами всех времён и семейств, человеческих или птичьих, не всё ли едино здесь, на скудной земле, петухи, глуховато, как будто спросонок, полаивали собаки, воспалённо и дробно алела во дворах захудалых рябина.

Там шла не совсем ещё понятная мне, потайная, укромная, сирая, скромная, скромнее некуда, жизнь, закрытая от всего ненужного, постороннего, полностью отделённая от жизни чужой, городской, и, тем более, жизни столичной, там шла стародавняя жизнь, домостроевская, возможно, со своими строгими правилами, разительно непохожая на жизнь в приветливых, светлых, больших украинских сёлах, давно, хорошо мне знакомую.

Это была Россия, и я каждый раз ловил себя на том, что

лишь по своей воле, по своему желанию, нахожусь нынче в совсем иной стране, чем та, что оставил я в Диком Поле, на юге, в Скифии, в запорожских землях исконных, моя, родная, степная.

Что-то замшелое, тусклое, закосневшее в дряхлости, ветхости, угро-финское, колдовское, вдруг бросалось в глаза, а потом почему-то сразу же пряталось неизвестно куда и зачем, не желая совсем выпячиваться, вот и всё, на передний план.

Церкви, порою заброшенные, с поросшими сорной травой и даже как-то прижившимися высоко над землёй деревцами, ободранными куполами, стояли в отъединении от повседневности, в полном одиночестве, где-нибудь поодаль, и если были на них кресты, то, увы, покосившиеся, кривые, но чаще их не было вовсе, и отсутствие их очевидное ощущалось особенно остро – точно самое главное в песне в приказном устранили порядке, никого об этом не спрашивая и ответственности не страшась, точно вычеркнули из списка нечто необычайно важное, или нужный предмет убрали, или вырвали прямо с корнем плодоносящее дерево и куда-то его увезли, и осталась одна пустота, в которой мистическим образом угадывалось присутствие креста, и, при скромном даже воображении, он высветлялся сквозь синеву, появлялся на миг и опять растворялся в сентябрьском небе, где уже сменялась дневная синева предвечерней дымкой, наплывали вновь облака, появлялся прохладный ветер, пускался гулять

по окрестностям, и слетали с ветвей дрожащих огоньками жёлтыми листья, и откуда-то издали, что ли, да, конечно, издали, впрямь из-за резко прочерченной грани горизонта, из необъятного, беспредельного

Зазеркалья, из-за глинистых, бурых откосов, из древесной коричневой гущи, доносился крик электрички, и пора мне было, пора возвращаться в Москву, обратно.

И я выбирался к пустому перрону, и вот уже мчался в несущемся сквозь убегающие в обе стороны, влево и вправо, наугад, без оглядки, деревья, признающем лишь скорость, ею козыряющем в спорах, вечных и бессмысленных, с расстоянием, и её же не забывающем никогда прибереечь на потом, целенаправленно мчащемся туда, куда полагается по расписанию, поезде, и за окошком вагонным начинало уже смеркаться, дверцы с визгом резким распахивались и с отчаянным треском захлопывались на всех остановках, состав срывался мгновенно с места и сразу же, без заминки, устремлялся вперёд, пассажиры усаживались поудобнее на жёстких сиденьях, за окнами темнело, внутри вагона зажигали мигающий свет, и в стекле отражались все мы, – и вот уже скоро Москва, подъезжаем, ну вот и приехали, – я выходил на вокзале, спускался в метро, добирался домой, постепенно, не сразу возвращаясь уже в другую, совершенно другую жизнь, столичную, благоустроенную, устойчивую, надёжную, спокойно, легко сносящую все порывы мои в путешествия, относящуюся ко мне, как, пожалуй, к весьма романтически

настроенному фантазёру, принимающую меня, со вздохом, конечно, и даже, порой, с невольным укором, уж такого, каков я есть, поскольку вряд ли кому-то удастся меня исправить, но, впрочем, я сам по себе, а она сама по себе, вот на этом-то и поладим, – и я в своей комнате медленно привыкал к вечерам столичным, чаёвничал, музыку слушал, читал, а то – в коридоре звонил телефон, меня подзывали старушки-соседки, я подходил, брал трубку, разговаривал, – что ж, опять звали в гости, – да-да, приеду, – собирался, накидывал плащ, выходил, уезжал, приезжал, добирался до нужного места, – встречали: приехал! мы рады, привет, поскорее входи! – вечер длился, уже – в общении, в ритуальном тогдашнем чтении, в разговорах беспечных дружеских за вином, превращаясь в ночь, – все спохватывались: успеть бы на метро! – собирались, прощались, расставались – буквально до завтра, – я спешил к метро, забегал, запыхавшись, вовнутрь, – и ехал, приходя в себя постепенно по дороге, до Автозаводской, – выбирался на улицу, мигом добирался домой, – ну вот, наконец-то я здесь, теперь – отдыхать. Но не тут-то было!

Ночь томила меня, манила всем заветным, что сердцу мило, что возвысил я и воспел.

Ночь вставала в окне, дышала всем, что в прошлом уже осталось, всем, что я пережить успел.

Я не спал. Ночь была смурною. Ветер вздрагивал за стеною – и, к стеклу прикипев, молчал.

Осень прежней цвела весною. Образ времени предо мною

оживал – и уже звучал.

Мне хотелось бы выразить ныне свет в апреле и звук в апреле, свет – спасительный, звук – начальный, тот, с чего всё и началось.

Томящийся в смутном предчувствии чего-то совсем небывалого, долгожданного, свежего, нового, кровно важного для меня, вдруг увидел я свет целительный и услышал я звук спасительный, в первых числах апреля, на родине, посреди блаженного дня.

Свет был ясным и золотым.

Звук был чистым и долговечным.

Ко мне вдруг пришли стихи.

Сами. Я стал их записывать.

Это было – моё. Я знал.

С той поры и пишу их. Поныне.

Вновь тревожит меня родное,  
слух и взгляд, словно встарь, открыв.

Свет со мною и звук со мною.

Навсегда. Покуда я жив.

Свет – спасает, звук – пробуждает.

Свет – ведёт сквозь темь, звук – речь рождает.

Сон ли? Явь ли? Так и живу.

Всё тружусь. А куда деваться?

Нам никак нельзя расставаться.

Свет – увижу. Звук – призову.

Свет – придёт. Звук – раздастся снова.

Шевельнётся первое слово.

Прорастут другие за ним.

В нашей речи – вселенской ткани – мы извечно стоим на грани тьмы осенней и вешней рани, где горенье в душе храним.

Надо сказать, что в ту пору, в шестьдесят четвёртом, в апреле, писал я стихи запоем.

Пришло наконец – моё.

Новое. Настоящее.

Понимал я: надо работать.

Продолжалось это и в мае, и окрепло тогда, настолько, что чувствовал я за плечами лёгкий шелест расправленных крыльев, когда, молодой, вдохновенный, ощущавший себя по-этом настоящим, жил я в Крыму, а потом, одинокий романтик, наслаждаясь полной свободой, изумляясь всему на свете, путешествовал, налегке, без излишних вещей, по крымским городам и посёлкам приморским, – и несколько позже, летом, когда у себя на родине твёрдо знал я, что всё, о чём в предыдущие годы мечтал я, всё, во что я столь искренне верил, всё к чему я стремился упрямо, выживая по-своему в скифской, грустноватой, степной провинции, всё моё – непременно сбудется, что вскоре стану я жить не где-нибудь, а в Москве, – и осенью, той, московской, о которой вам я

рассказываю в этой книге, вразброс, урывками, в самых разных её частях, продолжалось, да и зимой, и весной, во времена смогистские, с бурей и натиском, по Гёте, или по Шиллеру, неважно, скорее по-нашему, по-русски, непредсказуемо, так, что поди гадай, чем это всё завершится, и завершится ли полностью когда-нибудь, и не станет ли бесконечностью, вечным движением ввысь и вглубь, неожиданным кружением по столице, новым сражением, только с кем, и зачем, и когда, – и особенно сильно выплеснулось летом в раю, иль в аду, как Рембо когда-то сказал, и осенью шестьдесят пятого, судьбоносной, без иронии перестроечной, в самом деле необычайной, той, с которой милее свет стал негаданно, боль исчезла, и любовь наконец воскресла среди огнём опалённых лет, – и всё это стало книгами, с запозданием страшным изданными, в девяностых уже, и книги сами к людям пришли, точно так же, как намного раньше они приходили к людям в бесчисленных самиздатовских перепечатках, – и теперь я смотрю на книги, листаю порой страницы с такими знакомыми текстами, и вижу – истоки, апрель.

Конечно, как и у всякой истории есть предыстория, так и у этих истоков есть свои пред-истоки, так я выражусь нынче, надеясь, что меня хоть однажды поймут, и это – мои времена криворожские, времена всех тогдашних стихов, начиная с осени шестьдесят первого, и шестьдесят второй, весь, работа сплошная, и весь шестьдесят третий – годы поисков, ученичества, обретения речи своей, но об этом лучше – потом.

Теперь мне куда важнее мой апрель, – и я вижу себя в нём, в самом начале месяца, и сам себе удивляюсь, и вере тогдашней своей в грядущее, и отваге молодой, и надежде твёрдой на самое лучшее в мире, и солнцу над головою, и звёздам, и радости творчества, и грёзам своим, и яви, и снам, и, конечно, любви.

Когда бы не свет и звук...

Пришли ко мне они вовремя!

И я ощутил разъятость времени, для которого нет невозможного в мире, и протяжённость пространства.

И стал – навсегда, полагаю, – отныне самим собою.

Весна разрасталась не только в природе, не только в творчестве, но и в душе моей.

Пела каждая клеточка всего моего существа.

Наш дом переполнен был музыкой, которую слышал я, как никто другой, днём и ночью, и записывал постоянно.

Я ходил на работу, в школу, где числился воспитателем группы продлённого дня. Ребятишки меня любили. Я с ними вроде бы ладил. Находил с ними общий язык. Был с ними не воспитателем, но попросту старшим другом. Выросшие, годами они потом вспоминали меня. Наверное, было за что. Хорошо, что – так.

Но жил я – в собственном, стройном, непохожим на прочие, мире.

И мир этот с миром природы и миром творчества связан был так прочно, что вряд ли бывает прочнее незримая связь.

Направляясь ли на работу, возвращаясь ли поздно с неё, бродил я по берегам наших рек, неспешных, седых, в парках, где жгли костры, сжигая в них прошлогодний мусор, прелые листья, срезанные садовниками ветки, и к ясному небу поднимался пахучий дым, и подрастала свежая трава, и птицы окрестные пели многоголосым, неслыханно слаженным хором, а воробьи, которых в ту пору было так много в нашем городе, дружно чирикали, собираясь везде такими невероятными скопищами, что были слышны отовсюду, где бы ты ни находился, и вода в Саксагани к вечеру становилась ленисто-томной, а в Ингульце становилась вода напряжённо-тягучей, и Саксагань сливалась с Ингульцом, и вот уж один он, расширившийся, возможно, и не такой могучий, каким был он в древности, судя по сохранившимся сведениям, когда назывался он в Скифии Пантикапесом, а когда-то, совсем давно, во времена ведические – Хингули, но ещё крепкий, понимающий: силы при нём, устремлялся к югу, спиралью, витками, узлами, изгибами, поворотами, разворотами, всё дальше, дальше и дальше, по холмистым нашим степям, становящимся постепенно ровнее, приземистей, шире, к Днепру, чтобы вместе с ним выйти, вырваться к морю.

Я и сам вышел, вырвался к морю тогда, в конце моего памятного апреля.

Потому что – нужно было море.

Я взял да уехал в Крым.

Там, в раю субтропическом, в мае, стал я уже окончатель-

но, повзрослев, ощущая путь, к сути звавший, самим собою. Любовь? Да, была и любовь.

И весь южный берег, праздничный, пряный, хмельной, чарующий, накрепко врезался в память, с терпкими, сочными запахами каменистой прогретой почвы и диковинных, буйных растений, и волны морские пенились под луной, и звёзд было много, не счесть, и небо темнело, сгущаясь до черноты, до смоляной зеркальности, и тускло белели стены узорных дворцов и ограды, по шоссе проезжали автобусы, и резкий, дорожный запах отработанного горючего тут же, на месте, смешивался с тонкими, благородными, вкрадчивыми ароматами ковровых трав и цветов, а море плескалось внизу, солёное, бесконечное, медленно прогревающееся, и шли по нему корабли, а наверху, на склонах горных, уступами, ярусами гнездились дома, сады завершались роскошными парками, парки тянулись в горы, и там, совсем высоко, плескалось, переливаясь лучами прозрачными, небо, и шли по нему облака, и дымка, повиснув над морем, сгущалась в хмарь, тяжелела, темнела, и шли дожди, и я выходил побродить под дождём, в своём синем плаще, и шёл неизвестно куда, по наитию, но всегда получалось так, что туда, куда мне и надо было, и я приходил, а дождь всё лил, и я возвращался, и ждала меня там любовь, и дождь, помедлив немного, переставал шуметь по листьям, светило солнце, и сердце вновь оживало, и всё это было тем, чего я столь долго ждал и чего наконец дождался, и теперь, пожалуй, пора идти мне дальше ку-

да-то, – сон ли? явь ли? – не всё ли равно вам? – с явью сон, сновидение с явью, – всё возможно и всё допустимо, – сон, пожалуй, а всё же – явь.

И я уехал. Ветер путешествий меня окликнул. Я увидел Крым в цвету, на грани мая и июня. Весь южный берег, от Алушты и Гурзуфа до Симеиза, был распахнут мне. Бывало, в Ялте, вечером, в пору, я корабли, печалюсь, провожал. И Севастополь вдруг меня встречал, с прекрасными своими кораблями. Мелодией восточной прозвучал Бахчисарай. Был Симферополь жарок и странно бел, сплошные перекрёстки, ракушечные лёгкие дома, беспечные балконы. Старый Крым, с его тогдашней сонной тишиной, с развалинами караван-сарая, средневековой сказкою мечети Узбека, сквозь окрестную листву, и с домом Грина, и с его могилой, и с грецкими орехами впотьмах, и с тополями в утреннем тумане, сменился Феодосией, чудесной в своей дремотной памяти о прошлом. Потом был Коктебель. И понял я, что здесь когда-нибудь я буду жить. И я вернулся в скифские края, на родину. А летом вновь уехал, уже в Москву. И стал в ней обитать.

Но там, на радость мне, стоял сентябрь, и я срывался с места, уезжал, то во Владимир, то на Нерль, то в Суздаль, то в Подмосковье, и потом, усталый и полный впечатлений, возвращался в столицу милую, к семи её холмам, и небесам,

и рекам, и домам, с которыми надолго не прощался.

И такая вот круговерть путешествий, перемещений в пространстве, да и во времени, а вернее всего – сквозь время, сквозь пространство, к речи моей, к этой музыке или муче, к этой радости в каждом звуке, в каждом слове и в каждом шаге к новой грани, к сплошной отваге, увлекала меня, притягивала, вовлекала меня в движение, постоянное, необходимое.

Да и Москва сама, со всеми (ноты в гамме?) своими древними, широкими кругами, не то магическими, с брюсовской подачи, не то лирическими с виду, не иначе, не то эпическими, что ли, со своими, от центра самого, от старого Кремля, от сердца города, развёрнутыми туго спиралями, прорывами из круга, была, возможно, зримым воплощеньем, наглядным образом той жизни импульсивной, той молодости, всё-таки моей, не чьей-нибудь, а именно моей, с которой невозможно мне расстаться и днесь, в мои-то зрелые лета, настолько много значила она в судьбе моей. Итак, стоял сентябрь.

И на таком-то небывалом фоне сплошных открытий, частых путешествий, взаимопревращений, откровений, надежд, восторгов, – и произошла, поскольку быть иначе не могло, незабываемая наша встреча с Губановым, в далёком

сентябре, в прекрасном времени сиянье, состоялось знакомство наше, знаковое, впрямь, которому, знать, было суждено стать дружбой, непохожей на другие, из коей, в свою очередь, свободно, естественно, легко, и произрос, всё изменив повсюду вскоре, СМОГ.

В сентябре шестьдесят четвёртого года, Драконьего, щедрого на события разномастные, непрерывно, сплошной чередой, догоняющие, сменяющие, настигающие друг друга, чтобы, сжавшись в общий клубок, в некий узел, морской ли, мирской ли, неизвестно, в энергетический, раскалённый, сияющий шар, вновь разжаться, с пружинистой силою, завитком спирали незримой, вмиг раскрыться цветастым веером удивительных совпадений и негаданных происшествий, сплошь и рядом идущих об руку с постигаемой не по книгам, но вплотную, слишком уж близко, чтоб не видеть её воочию, чтоб надолго, нет, навсегда не запомнить её, таинственной и простой, как и всё хорошее и достойное в мире этом, без придумок ненужных, без баек непотребных, со слов чужих, лишь своей, а не чьей-нибудь, кровной, личной сызмала яви, ехал я на встречу с поэтом, широко известным в столичной многолюдной среде богемной, из отчаянных удальцов и героев, из общих любимцев, из птенцов, едва оперившихся, но уже подающих голос, из отъявленных сорванцов, из талантов, для всех очевидных, из певцов, молодых да ранних, так поющих, что их не заметить невозможно, и впрямь хоро-

ши, да и редкость это большая, уж тем более в наше время, не принять их нельзя, с приязнью, и, с восторгом, не полюбить, ведь богема на то и богема, чтоб уметь себя ублажать, чтоб уметь выделять своих, приглянувшихся ей не случайно и вписавшихся с ходу в неё, бравых, в доску своих парней, с перспективой необычайной на потом, – с Леонидом Губановым.

Восемнадцатилетний, всего-то, подчеркну это снова, сознательно, чтобы видеть давнишний свой возраст с башни многих прожитых лет, (восемнадцатилетий, уже, Боже мой, как летит моё время, вырывалось невольно встарь), – я давно ощущал себя взрослым.

Поколение послевоенное моё, всё разом, без лишней рефлексии, без промежуточного топтания, так, для порядка, на месте, чтобы подумать о чём-то сугубо практическом, полезном, трезвом и здоровом, с точки зрения наших родителей или школьных учителей, как-то слишком уж быстро, без всяких колебаний, сомнений, прикидок, размышлений невразумительных, стремительно повзрослело, и уступать завоёванные, с бою, с ходу, с налёту, позиции, нам и в голову не приходило.

Мы старались избавиться всячески, любым из возможных способов, от опеки ненужной над нами, от назойливого надзора, от всего, что явно пахло заурядностью и обыденщиной.

Наставления и советы воспринимались в полной готовности отразить их, в сраженье, в атаке, в штыки, посмелее, и лишь отчасти усваивались, осмысливались нами, как нечто не очень-то приятное, исходящее из той бытовой обязаловки, той приглаженной и прилизанной, ненавистной нам положительности, той советской, всем понемногу, и достаточно, уравниловки, под присмотром и под контролем наблюдающих за порядком повсеместным в державе нашей неусыпно и неустанно, днём и ночью, почти незримых, нелюбимых, необходимых и всесильных каких-то, вроде бы, говорили с опаской, органов, или, может, властей кремлёвских, потому что не знали толком, где там органы, где там власти, что за органы, что за власти, что за птицы и что за страсти, кто их, в общем-то, разберёт, если знают всё наперёд, в светлом будущем обещают оказаться в кратчайший срок, но читают все между строк, да ещё голоса вещают зарубежные обо всём, что в стране у нас происходит, и тоска на людей находит, и с надеждой сплошной облом, говорят, не верь, не проси, что за мрак такой на Руси, что за ужас во всём Союзе, поверять остаётся музе настроенья свои, уравниловки мы чурались, нивелировки, стрижки всех под одну гребёнку, строевой, командной послушности, шаг назад, шаг вперёд, на месте, вправо, влево, стой, запевай, поднимайся, в ружьё, на службу, в пятилетку, на стройку, к станкам, в шахты, в лифты, в тайгу, к облакам, глубже, выше, смелей, и так далее, от нелепой и неизбежной жизни в обществе долгой лжи, с ма-

лых лет до седых волос, и мещанской благопристойности, от которых мы, как умели, отбояривались, отмахивались, да и просто бежали – прочь из чуждой духу желанного, блаженного свободомыслия, ненавистной, обрыдлой нам канцелярской, казённой системы.

Конечно, был я тогда очень молод, слишком уж молод.

Но я, сколько помню себя, всегда, по чутью, тянулся к тем, кто были старше меня и могли открыть мне однажды что-то важное для души, что-то новое, прежде неизвестное.

Добрых три года я мыслил самостоятельно, сам принимал решения и совершал поступки, многие из которых и теперь, посреди междувременья, представляются мне достойными, а порою даже значительными.

Разумеется, было немало промахов и ошибок, огорчений, разуверений, нелепостей всяких досадных, но возраст мой был таков, что, при отсутствии полном учителей и наставников, я вынужден был искать и сам находить всегда то, к чему влекло меня сызмала романтически бурное, грозное, иногда не на шутку опасное, но зато упоительно вольное, без оков, течение жизни, как мне думается, действительно удивительной и прекрасной.

Было мне от роду братцы, не просто ещё восемнадцать, но уже восемнадцать лет и семь дополнительных месяцев.

Тогда и эти, наперечёт, месяцы, очень любили счёт и тоже имели значение.

По причине быстрого, слишком или в меру, кто как счи-

тал, на авось полагаясь, взросления.

Тогда я уже добился поставленной загодя цели и поступил учиться на престижное, элитарное, ну, слегка, по сравнению с прочими, уж во всяком случае стоящее и достойное отделение истории и теории искусств, это было главным, что меня привело туда, исторического факультета серьёзного заведения учебного, МГУ.

То есть стал, по-студенчески, вольно, по-богемному, безалаберно, по-хорошему, по-человечески, замечательно, жить в Москве.

Парижа, как я всегда в книгах своих подчёркиваю, у нас, к сожалению, не было, а вот Москва, распрекрасная столица странноприимная, по счастью, у нас была.

И она звала, отовсюду, из различных мест многовёрстной, многозвёздной нашей страны, и тянула к себе столь властно, что противиться ей, столице, было всем нам уже невозможно, и она собирала вместе нас, вчерашних провинциалов, постепенно и неуклонно становящихся москвичами, привыкающих здесь обитать и работать, по-своему каждый.

Отовсюду в Москву съезжались люди творческие, азартные, для которых не подходили никакие мерки стандартные, те, которым хотелось общения настоящего и внимания, те, которые были отважны и к невзгодам готовы заранее.

И Москва принимала – всех.

И спасала – всех, без разбора.

Был возможен в грядущем – успех.

Он придёт ли? Пожалуй, не скоро.

А пока что – пиши, поэт!

А пока что – рисуй, художник!

Вот он, ясный вечерний свет.

Вот он, тихий осенний дождик.

Всё – для вас. Для таких, как вы.

Всё – для творчества. Для открытий.

Для незримых духовных нитей.

В этом – самая суть Москвы.

Я жил, как уже рассказывал выше, на Автозаводской улице, в старом, крепком, невысоком, с толстыми стенами и большими окнами, доме довоенной добротной постройки, отдалённо напоминающем упрощённый конструктивизм.

В обжитой коммунальной квартире у меня была, пусть и временная, ненадолго, да всё же своя, так хотелось мне думать, комната. Принадлежала она симпатичной московской тёще генерала с необозримыми перспективами и возможностями, наперёд, на потом, Ивана Александровича Герасимова, начальника криворожского гарнизона, фронтовика, человека закваски крепкой, волевого, честолюбивого и способного на решительные, непредвиденные поступки, что случилось несколько позже, когда он помог мне в беде, и отца моего приветливого одноклассника Саши Герасимова.

Был в квартире и телефон, правда, общий, но всё-таки был, и его наличие радовало, а случалось, и выручало. Была, разумеется, ванная, просторная общая кухня.

Но главное в этом роскошестве – была у меня своя комната.

Почему-то приятно теперь мне о давнишнем пристанище этом, с добрым чувством, порой вспоминать.

Я учился в университете – и гордился этим. Студент!

Я уже ощущал себя москвичом – и это вот было, зачем такое скрывать, приятное ощущение.

И вот сегодня, сентябрьской порою, в час предвечерья, мне, москвичу новоявленному, надо было ехать на встречу с незнакомым, пока что, хорошим, наверное, человеком.

Я набросил свой синий плащ, байроновский, романтический, как хотелось мне искренне верить, или, проще, вообразать, на плечо закинул ремень потёртой лёгонькой сумки, закрыл за собой поплотнее скрипучую дверь квартиры, быстро сбежал по ступенькам пропахшей всеми возможными, коммунальными, стойкими, запахами, щербатой лестнице вниз и вышел из темноватого подъезда в просторный двор, заросший большими, старыми, устойчивыми деревьями.

Прошёл мимо нашей булочной, мимо стеклянной витрины гастронома, вдоль узкого сквера, к перекрёстку, затем перешёл дорогу и, торопясь, зашёл наконец в метро.

Там, бросив пятак свой звякнувший в щёлку пропускника, я спустился на эскалаторе к платформе, вмиг заскочил в вагон как раз подошедшего, сверкнувшего стёклами поезда

и поехал в сторону центра.

Встречи тогда назначались нашей богемной братией в четырёх привычных местах: у памятника, с фонарями и цепями чугунными, Пушкину, у памятника Маяковскому, на углу в столице известного всем и каждому «Националя» и в уютном университетском дворе, со скамейками вдоль старой высокой ограды, с деревьями, со студентами оживлёнными, на Моховой, именуемом «психодромом».

Недавно сказал мне поэт, знаток московской богемной жизни, Саша Юдахин:

– С тобой, представь себе, хочет познакомиться Лёня Губанов.

Я, хоть и слышал уже, конечно, о нём, нарочно, удивляясь, вроде, такой информации, поднял брови:

– Кто это? Не припомню.

Юдахин сознательно выдержал небольшую, но, по его мнению, по-актёрски, эффектную, видимо, паузу и только тогда уж сказал:

– Самый талантливый, так считают разные люди, поэт молодой в Москве.

– Ну, это мы ещё посмотрим, кто же в Москве талантливее! – мгновенно отреагировал я.

– Нет, я ведь не утверждаю, говоря о Лёне, что он талантливее тебя, – поправился тут же Юдахин. – Сам ты очень та-

лантливый. Но ты-то в Москве недавно совсем. А Лёня москвич. Его уже знают здесь.

– И меня уже знают здесь, – сказал, сощурившись, я.

– Вы оба самые-самые талантливые в Москве, – обобщил, улыбаясь, Юдахин. – Я уже рассказывал Лёне о тебе. И другие ребята ему о тебе говорили. Он хочет с тобой повидаться. Давай я вас познакомлю.

– Хорошо, – сказал я, – знакомь.

– Я тебе скоро, Володя, позвоню, – подытожил Саша. – Как только договорюсь с Лёней о вашей встрече, так сразу и позвоню. Жди моего звонка.

И вот, через день, буквально, Юдахин мне позвонил:

– Договорился. Где встречаемся? Прямо сегодня.

– Лучше всего – у памятника Пушкину. Так привычнее, – без раздумий ответил я.

– Когда? Говори конкретно.

– Вечером, в семь.

– Идёт.

Пришлось, ничего не поделаешь, мне собираться и ехать.

Кто такой Саша Юдахин – объяснять никому не надо. Поэт. Человек общительный. Дружелюбный ко всем, улыбчивый. Рослый. Спортивный. Свой парень, во многих кругах и компаниях. Энергии в нём предостаточно. Все его знают – и он всех поголовно знает. Он в облаках не витает. Он трезв

– и восторжен: публично. Всё складывается отлично. Публикации. Выступления. Путешествия. Впечатления. На коне он, это заметно. Потому и смотрит победно. Между тем, он раним, по-своему. Реагирует на обиды. Но – защитное что-то усвоено. И – привык не показывать виду. И когда-то, в года молодые, то же самое было. Всегда. Всё с него, словно с гуся вода? Вопросенья, тире, запятые, восклицанья. Судьба – впереди? Биография – ежеминутно? Что потом? Предсказать это трудно. Что за боль возникает в груди? Стихи его помню, задорные, из давних шестидесятых: «Я буду, мы будем выигрывать секунды, секунды, секунды!» – в молодёжном гвардейском журнале, – в тему, блин, как теперь говорят. А вот это нигде в печати почему-то я не встречал: «У реки берега – будто два утюга». Наверное, самиздатовское.

В центре столицы я вышел из метро и пешком поднялся вверх по улице Горького к Пушкинской, к месту встречи грядущей, площади.

Пришёл я туда ровно в семь часов, ни минутой позже, как мы и договаривались.

Возле памятника, опекушинской вдохновенной работы, Пушкину – меня, пришедшего вовремя, уже, с нетерпением, ждали.

Словно из-под склонённой в задумчивости головы Александра Сергеевича, из осеннего воздуха вышли и двинулись

прямо ко мне две фигуры, одна высокая, и это был Саша Юдахин, а другая значительно меньше ростом, так, небольшая совсем.

– Вот вы, ребята, и встретились! – торжественно произнёс Юдахин. Потом продолжил. – Познакомьтесь. Лёня Губанов! – представил он, с видом солидного, в политике поднаторевшего, со стажем большим, дипломата, этого невысокого, хмурого паренька. – Володя Алейников! – с пафосом, достойным ораторов греческих, представил меня он ему.

Поздоровались мы с Губановым.

Руки друг другу пожали.

Стоим себе – с Пушкиным рядом.

Смотрим один на другого.

И, почему-то, молчим.

– Ну, вот вы, ребята, друг с другом наконец-то и познакомились. Надеюсь, что скоро подружитесь. А мне пора уходить, – сказал, что-то вдруг, негаданно, сообразив, Юдахин. – Дела у меня. Увидимся!

И он, кивнув на прощанье нам обоим, исчез в толпе.

В те времена москвичи и приезжие вечерами любили гулять по столице. В центре всегда былолюдно.

И раствориться надолго меж людей было вовсе не трудно.

Мы с Губановым, возле Пушкина, под склонённой к нам головою поэта, в шелесте листьев и отсветах загоравшихся всё гуще окрестных огней, стояли друг против друга и про-

должали молчать.

Это напоминало, наверное, первую встречу доселе ещё не видавших друг друга, воочию, рядом, двух молодых, да ранних, конкурирующих меж собою, на войне и в мирное время, всё едино для них, полководцев.

Этакий бука-подросток, с чёлочкой, коренастенький, сероглазый, в распахнутой курточке, в мятых брюках, в нечищенных туфлях, придирчиво, исподлобья, с прищуром, смотрел на меня.

На него я смотрел спокойно, без нервов. Подумаешь, фрукт! Ничего, погодим, подождём, что последует за молчанием.

Что он там башкой своей, с чёлочкой кривоватой, небось, надумал?

Явно ведь собирается что-нибудь взять да и выкинуть.

Видно по физиономии – вся уже напряглась.

Ладно, переживём. И не таких видали.

Вдруг Лёня, скривив по-детски влажные, пухлые губы в язвительной, скользкой улыбочке, вновь, будто мы с ним до этого вовсе и не здоровались, протянул мне руку и тоном официальным, холодным, с осознанием собственной значимости, отчётливо, жёстко изрёк:

– Леонид Георгиевич Губанов.

– Владимир Дмитриевич Алейников, – мгновенно парировал я и крепко пожал его руку.

Лёня с вызовом откровенным посмотрел в упор на меня –

и опять протянул мне руку. И сказал, меняя подход, нараспев:

– Леонид Губанов.

– Владимир Алейников, – твёрдо, без эмоций, ответил я.

Лёня этак хитро сощурился на меня – и ещё разок протянул мне зачем-то руку. И сказал с хрипотцой:

– Леонид.

– Владимир, – сказал я спокойно, понимая, что это игра.

Губанов уже с любопытством посмотрел на меня – и вновь протянул мне руку свою, с длинными, гибкими пальцами, с грязными, как у школьника хулиганистого, запущенными, нестриженными ногтями, сказав дружелюбно:

– Лёня.

– Володя, – сказал я приветливо и взглянул ему прямо в глаза.

Губанов так широко, что шире некуда просто, улыбнулся, преображаясь, хорошея, меняясь к лучшему, и уже панибратским тоном, все приколы отбросив, сказал:

– Старик! Давай будем на «ты»!

– Давай! – согласился я.

– Слушай, а я давно про тебя, между прочим, знаю! – тут же сказал мне Губанов.

– И я про тебя, представь себе, знаю! – сказал ему я.

– Ты ведь в Москву с Украины приехал? – спросил Губанов.

– Из Кривого Рога.

– Откуда?

– Из Кривого Рога. Такой город есть в наших южных степях. Там я вырос.

– Теперь понятно.

– Что понятно?

– Там твоя родина.

– Посмотрите, какой догадливый! Ну, а ты-то москвич?

– Москвич.

– Сразу видно.

– Что тебе видно?

– То, что ты коренной москвич.

– Ты где-нибудь учишься?

– Да. Учусь.

– А где?

– В МГУ.

– А я чихал на учёбу. Я и среднюю школу, всего-то, не закончил! Бросил, и всё.

– Почему?

– Так. Долго рассказывать.

– Ну, как хочешь.

– Потом скажу.

– Сам решай, как тебе поступать.

– Володя! – сказал Губанов. Говор был у него московский, акающий, певучий. Он произносил: Ва-а-лодя. – Ая про тебя ещё прошлой осенью слышал.

– Неужели правда? – невольно удивился словам его я.

– Нуда! Ты же здесь, в Москве, жил прошлой осенью, долго?

– Конечно, – сказал я, – жил.

– Ну вот. Мне ребята из разных наших литобъединений говорили, что появился новый талант. Это ты.

– Надо же, как бывает! – сказал я. – А о тебе я только сейчас, в сентябре, от знакомых, впервые услышал.

– Почитаешь стихи? – спросил меня, в лоб, напрямую, Губанов.

– Можно, – сказал я. – Но где?

– Пойдём, хоть куда-нибудь. Куда – всё равно.

– Пойдём.

И мы с Губановым двинулись вместе по улице Горького, в сторону Маяковки.

Оказался Лёня Губанов – парнем, времени зря не теряющим.

После того, когда мы, разговаривая, миновали пустоватую, без поэтов, там читавших стихи свои толпам слушателей, отовсюду, на чей-нибудь голос громкий, собиравшихся неизменно, чтобы в действе участвовать, площадь Маяковского, Лёня вдруг предложил мне, с места в карьер:

– Слушай, давай дружить!

– Давай! – согласился я.

Приближались мы к Белорусской.

Лёня вновь ко мне с предложением:

– Слушай, давай-ка выпьем!

– Давай! – согласился я.

Мы зашли в гастроном какой-то.

Наскребли, еле-еле, денег на одну бутылку портвейна. Бутылку я положил, для спокойствия, в сумку свою.

Двинулись – вместе – дальше.

Шли по вечерней улице куда-то – и разговаривали.

И оба уже понимали, что друг с другом нам – очень даже интересно, так вот, свободно, слово за слово, непринуждённо, как старинным знакомым, с приятнью не случайной, с доверием полным к собеседнику, к новому другу, на пути, неизвестно, куда, непонятно, зачем, протянувшимся перед нами, куда-то за грань постижения, говорить.

Мы прошли грохочущий мост за Белорусским вокзалом и находились уже где-то возле улицы Правды.

Не мешало бы нам и выпить, раз вино у нас есть с собой.

Мы свернули вдвоём с тротуара в непомерно просторные, как-то буржуазно, не по-советски, расположенные, без всякой экономии места, на скудной, но и ценной столичной земле, за большими, просто громадными, вроде каменных сундуков, заселёнными впрок, под завязку, москвичами, глухими домами.

Там зашли почему-то в подъезд.

Открыли бутылку портвейна.

Выпили оба, по очереди, вдумчиво, прямо из горлышка.

– Хорошо пошло! – дал оценку действию, с видом бывалым,

Губанов.

– Нормально! – сказал я, без всяких славословий. – Вино как вино.

В подъезде было темно и подозрительно тихо.

Мы закурили. Присели рядышком на ступеньки.

– Тяпнем ещё! Давай! – предложил, поразмыслив, Лёня.

– Пожалуй, можно! – прислушиваясь к тишине, согласился я с ним.

Снова глотнули по очереди из горлышка. Закурили.

В бутылке нашей вина, мерзкого, надо заметить, и на вкус, и на цвет, и на запах, содержащего нужные градусы для советских людей, напитка, оставалось уже маловато, в аккурат по третьему разу приложиться, и дело с концом.

(Я заметил сразу, что выпитое в смехотворных дозах вино Лёню явно взвинтило. Нет, изменило. Стал он каким-то непривычно, страдальчески нервным. Беспокойным. Словно вдали, впереди, ждало его нечто, с чем бороться не в силах он был. Покориться же этому – всё же не желал. Примириться с ним – тоже. Притворяться, кривляться – негоже. Этот страх и манил, и губил. Движения – резкие, дёрганные.

Паяц? Юродивый? Мим?

В голосе хриловатом – новые, незнакомые, вибрирующие, зудящие, сверлящие изнутри горло, солоноватые, с привкусом горьким, нотки.

Зрачки разрослись, расширились до пугающей черноты.

Это было заметно вблизи даже здесь, в полутёмном подъезде.

Тогда я ещё не знал, что, сколько бы там вина, пускай хоть совсем немного, не говоря уж о водке, ни выпил бы он, алкоголь действовал на него, как наркотик, и это сказывалось, мгновенно, закономерно, с убийственным постоянством, всякий раз, на его поведении, нередко, почти всегда, приводя к печальным последствиям.

Но вскоре уже, к сожалению, пришлось мне об этом узнать.)

Лёня, меж тем, не забыв об основном своём желании, попросил меня:

– Почитай, Володя, стихи!

– А ты? – спросил я его.

– Я потом. Сразу после тебя.

– Хорошо! – согласился я.

Не больно-то подходящим для чтения наших стихов местом был этот тёмный, пустой, незнакомый подъезд, но выбирать было не из чего.

Я начал читать свои стихи тогдашние – новые для меня в ту сентябрьскую пору, недавно совсем написанные, начал читать их Лёне – и незаметно увлёкся.

Губанов слушал меня с таким напряжением страшным во всём его крепком теле и с таким вниманием острым на бледном его лице, с таким нутряным, наружу рвущимся, жгучим

огнём в чернеющих непоправимо расширенными зрачками, как-то чутко и слишком пристально распахнутых на меня, из-под скомканной чёлки, глазах, что почему-то стало мне за него тревожно.

Я прочитал всего-то несколько свежих вещей.

И читал-то негромко, да только случилось, конечно, то, что я предвидел заранее.

На звук моего, негромкого, но кем-то всё же услышанного сквозь массивные стены, голоса – с треском открылась дверь одной из ближайших квартир – и оттуда с негодованием вывалились в подъезд разъярённые жители дома:

– А ну прекратите шум!

Тотчас же, вслед за первой, открылась, под крики граждан чумных, и соседняя дверь:

– Безобразие! Хулиганство! Милицию надо вызвать!

Губанов сорвался с места и, подёргиваясь, заорал на возмущённых граждан:

– Суки! Слушать стихи гениальные не мешайте! А ну, заткнитесь!

– Лёня, тише. Кричать перестань. Пойдём! – Я силком еле вытащил его из подъезда во двор.

Вслед нам бурной лавиной неслись оголтелые вопли жильцов.

Кое-как увёл я Губанова в темноту, в глубину двора.

Его буквально трясло.

Никак он не мог успокоиться.

Всё твердил:

– Помешали, гады!

– Тише, Лёня, – сказал я. – Молчи. А то жильцы, чего доброго милицию запросто вызовут. Нам это ни к чему. Всё, успокойся. Быстрее уходим отсюда. Вперёд!

Мы двинулись наугад куда-то, лишь бы уйти подальше да поскорее из опасного места, свернули в ближайшую арку, и выбрались в соседний безлюдный двор.

– Есть вино? – спросил у меня, шевеля бровями, Губанов.

– Есть ещё, – показал я бутылку.

– Выпьем?

– Выпьем!

– Давай?

– Давай.

Мы приложились к бутылке уже по третьему разу.

Больше, при всём желании возможном, пить было нечего.

Губанов, чиркая спичками, ломая их то и дело, жадно, словно дорвавшись наконец-то до сигареты, по-блатному как-то, хватисто, заковыристо, закурил.

Потом посмотрел мне в глаза и убеждённо сказал:

– Ты гениальный поэт!

– Ладно уж, Лёня, – сказал я. – Ты прямо как император всероссийский, титулы всякие играючи раздаёшь.

– Ты гений! – с пафосом явным сказал Губанов. – Я знаю.

Ну что за категоричность?  
Откуда? Зачем? Почему?  
Простецкая непривычность?  
Первичность? В толк не возьму.  
Вот уж, право, замашки богемные.  
(Похожие на дворовые.)  
Столичные? Или туземные?  
Во всяком случае – новые.  
Звук, превращённый в знак.  
Я сказал:  
– Хорошо, если так.

Губанов, поёжившись, выпустил сигаретный белёсый дым из обеих ноздрей, затем, исподлобья, с прищуром стрелецким, с молодецким, зубастым вызовом, с вопросительным знаком, вместе с восклицательным, в серых глазах, взглянул на меня и спросил:

– Можно, я теперь почитаю?  
– Читай! – согласился я.

Здесь же, в бездне столичного вечера, во дворе на улице Правды, стал он, заметно волнуясь, читать мне свои стихи.

И, честно, как и когда-то в прошлом, вновь сознаюсь: поначалу эти стихи не очень-то мне понравились.  
Длинные. Даже слишком. Неровные. Грубоватые.  
То несколько строчек искорками вспыхнут среди сумбу-

ра, то снова гул хаотичный, досадный, а то и провал.

Человек-то явно талантливый, даже очень, это уж точно.

И тон у стихов особый.

И лицо есть своё. И голос.

Да, собственно, всё в них – его, не чьё-нибудь там, а губановское.

Но что же меня останавливает?

Что мешает их сразу принять?

Непохожесть их, очевидная, на то, что сам я писал?

Так она и должна ведь быть, эта самая непохожесть. Грубоватость их? Ну и что!

Нет, не знаю. Пока – не знаю.

Но что-то мешает мне принять их безоговорочно.

И ничего, пока что, видать, не поделаешь с этим.

Губанов это заметил.

Чутьё у него, врождённое, импульсивное, обострённое, на всё вообще вокруг, сразу, оптом, было отменным.

Да и реакция тоже, на любое движенье извне.

И тем более, разумеется, – на то, как люди, которым доверился, вроде бы, он, раскрылся, пускай и на время, перед ними, воспринимают, в основном, по традиции, с голоса, не с листа ведь, это не к месту и не к спеху, его стихи.

Обо всём этом я узнал не тогда, но уже очень скоро.

Он, покашляв незнамо зачем и смутившись, прервал своё чтение.

– Потом почитаю. Успеется. Ладно? В другой раз.

– Как знаешь! – сказал ему я.

Да, задело, конечно, Губанова то, что я, новый друг его и соратник вполне реальный, точно так же, как сам он, признанный половиной Москвы, недавно, да буквально только что, ну, полчаса каких-то назад, почему-то сразу не выразил ни эмоций своих, ни восторгов, не назвал его с ходу гением, как в богеме всегда называли, не признал его безоговорочно.

Это чувствовалось, я видел, в том, как вёл он себя тогда. Нахохлился весь. Насупился.

Шёл, руки в карманы, вразвалочку.

Головой, кручинясь, покачивал молчаливо. А то и вздыхал.

Потом он сумел собраться.

У нас опять завязался простейший, так, между прочим, по пустякам, на ходу, но всё-таки разговор.

Мы с Губановым, разговаривая, шли сквозь осень, сквозь шелест лиственный, сквозь огни столичные, вместе, шаг за шагом, слово за словом, напрямик, в разверстую даль.

Добрались до метро «Динамо».

– Так мы и до меня дотопаем! – Лёня сощурился, закуривая. Сквозь дымок сигаретный продолжил фразу: – Я-то на Аэропорте живу. Родители дома. Думаю, не помешают. Может, зайдём ко мне? Потолкуем. Чайку попьём. Ты не переживай. К себе добраться успеешь. Дом наш – неподалёку

от метро. Каких-нибудь пять, ну, может быть, десять минут неторопливой ходьбы – и ты на метро успеешь до закрытия. Ну, зайдём?

Я взглянул на свои часы – и сразу же спохватился:

– Нет. Мне домой пора. Завтра с утра – занятия.

– Понимаю! – сказал Губанов.

Мы стояли с ним возле метро. Стояли, два парня, один – повыше ростом, другой – пониже. Поэты. Надо же! Молодые совсем. Познакомились. Подружиться в дальнейшем – удастся ли? Поживём – увидим. Посмотрим. Всё возможно. Ведь невозможное, как сказал не случайно Блок в озаренье, тоже возможно. Невозможного в мире нет. Есть – сквозь тьму приходящий свет.

Поздний сентябрьский вечер, с его лиловато-чёрным, плотным куполом неба и жёлтыми, золотистыми, звёздчатыми, узорными, широкими всплесками листьев на всех окрестных деревьях, обволакивал нас прохладой.

Пора было нам расставаться.

Мы с Губановым обменялись телефонами и адресами, тут же, на месте, вписав их в свои записные книжки.

Губанов, похоже, маялся.

Моя – совсем ведь недавно, и, главное, так неожиданно, – реакция на его стихи, которые всем в Москве, кого ни возьми, ни припомни, решительно всем, нравились, нет, какое там, вызывали восторг, восхищение, не давала ему покоя.

– Володя! – сказал он мне. – Давай-ка снова увидимся. Прямо завтра. Пойдём куда-нибудь. Пообщаемся. Что, ладно?

– Завтра никак не могу, – сказал я. – Завтра я занят. А вот послезавтра – пожалуйста.

– Так можно приехать к тебе? – спросил, оживая, Губанов.

– Позвони мне вначале, заранее, обязательно. И приезжай. Днём, лучше всего. Послезавтра.

– Договорились! – сказал, пожимая мне руку, Губанов.

Мы зашли в метро. Попрощались.

И разъехались в разные стороны.

Такова наша первая встреча.

Вроде рядом она – и далече.

Камертонная. Чистый звук.

(Время – птицей из наших рук.)

В недрах осени – добрый знак.

(Весь, как есть, вокруг – Зодиак.)

Изначальная, беспечальная.

(Вряд ли будет потом – прощальная.)

Встреча – присказка. Встреча – быль.

(Над столицей – звёздная пыль.)

Встреча – с речью. Запев. Пролог.

(Драмой будущей станет – СМОГ.)

Вскоре было у встречи нашей продолжение закономерное.

Судьба, видать, постаралась, распорядилась так, чтобы всенепременно, без лишней тягомотины, без отговорок непотребных, без промедления несуразного и ненужного, только так и никак иначе, потому что нельзя по-другому поступить никому из нас, хоть и время есть прозапас, чтоб к вискам не хлынула кровь, мы с Губановым встретились вновь.

...Через день позвонил Губанов.

– Старик! Володя! Привет! Как дела? Это я, Лёня. Ну что, скажи, приезжать?

Я сказал ему:

– Приезжай!

Через час, не позже, Губанов появился в моей комнате.

Был он тих, отрешённо-задумчив.

Некий свет, непривычный, таинственный, проступал на его мальчишеском, чуть припухшем, бледном лице.

И глаза его – были грустными.

Напрямик, откровенно, сразу же, без ненужных ему предисловий, каким-то вмиг изменившимся, отчасти звонким, торжественным, отчасти не слишком уверенным, акающим по-московски, с хрипотцою дворовой, голосом, но так доверительно, искренне, так просто, и в то же время почти с надрывом, с душой, моляще, Губанов сказал:

– Я стихи написал. Почитаю. Послушай. Тебе посвящается.

Я смотрел на него – и видел в нём, пришедшем сюда, какую-то неизвестную мне, разительную внутреннюю перемену.

Что-то с ним, безусловно, произошло, непонятное, а может и небывалое, за то короткое время, покуда мы с ним не виделись.

Я сказал ему:

– Почитай!

И приготовился слушать.

Губанов одним рывком не встал, а взлетел с места.

Он стоял посреди моей коммунальной просторной комнаты.

Свет, прозрачный и золотистый, плавно льющийся из окошка, освещал его побелевшее, без единой кровинки, лицо.

Зрачки его снова расширились и стали угольно-чёрными.

Но не было в нём обычной, обострённой, нервической взвинченности.

Было – спокойствие. Странное.

Обречённое. Роковое.

Но – невиданно светлое. Тихое.

Величавое. Доброе. Чистое.

Не спокойствие даже, но – глубь, за которой встаёт благодать.

– Осень, – сказал он грустным, неожиданно дрогнувшим го-

лосом. И посмотрел мне в глаза. – Посвящается это Владимиру Алейникову. Моему – навсегда – закадычному другу.

Потом взглянул за окно, за которым стоял, как в сказке, с теремами своими воздушными, с облаками поодаль, сентябрь.

Сощурился вкось на свет.

И стал, волнуясь, читать.

– Здравствуй, осень, – нотный грот, жёлтый дом моей печали! Умер я – иди свечами. Здравствуй, осень, новый гроб. Если гвозди есть у баб, пусть забьют, авось осияют. Перестать ронять губам то, что в вербах износили. Этот вечер мне не брат, если даже в дом не принял. Этот вечер мне не брать за узду седого ливня. Переставшие пленять перестраивают горе... Дайте синего коня на оранжевое поле! Дайте небо голы в изразцовые коленца. Дайте капельку повить молодой осине сердца! Умер я. Сентябрь мой, ты возьми меня в обложку. Под восторженной землёй пусть горит моё окошко.

Губанов закончил читать – и опять посмотрел на меня.

Был услышанным я потрясён.

И тут же предчувствие страшное чего-то непоправимого, что непременно должно произойти с Губановым, резко сжало мне сердце.

Что это? Боже Ты мой!..

– Лёня! – сказал я ему. – Поразительные стихи.

– Тебе понравилось? Правда? – просиял, расцветая, Губанов.

– Очень понравилось. Правда. Настоящие это стихи. Долговечные. Чувствую это. Понимаю. И очень твои, – сказал ему я уверенно, поскольку так и считал.

– Всё я давным-давно, поверь, про себя знаю! – с горечью, с откровенностью, предельной и запредельной, вдруг вымолвил, словно выплеснул наболевшее что-то, Губанов. – Проживу я ровно, запомни, тридцать семь отпущенных мне лет. Умру в сентябре. Вот в этом стихотворении всё про это и сказано.

– Господь с тобой, Лёня! Ты что? – воскликнул я. – Что за страсти такие ты говоришь? Да живи ты ещё сто лет! Зачем на себя самого ты каркаешь? Так нельзя. С такими вещами не шутят!

– Эх! – махнул Губанов рукой, как стрелец, идущий на плаху. – Со мной всё давно уже ясно!.. Меня ты, не сомневайся, точно переживёшь. Вспомни когда-нибудь, в будущем, когда не будет меня, этот день в сентябре. Всё я знаю про себя наперёд, всё знаю...

Нелегко было мне, после всех этих Лёниных откровений, сохранять, пусть и внешне, вынужденно, с беспокойством в душе – спокойствие.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.